Муравьев Владимир Сергеевич
ПУТЕШЕСТВИЕ С ГУЛЛИВЕРОМ (1699-1970)



Автор книги предлагает читателю своеобразное путешествие по векам и странам вместе с Лемюэлем Гулливером. В этом путешествии мы заново открываем книгу Свифта — книгу безмерной горечи и сарказма, неоцененной глубины.

Автор рассказывает о том, как возник замысел сатирического шедевра Свифта, об атмосфере мистификации и тайны, окружавшей публикацию книги, о бурной реакции современников. Прослеживает внутреннюю динамику Свифтовской сатиры, ее стилистику.

На страницах книги встает не только фигура Свифта, но и тех, кто были его судьями и толкователями — в 18 веке и в 19, в Англии и Франции, Германии и России.

Книга насыщена фактами, большей частью впервые публикуемыми на русском языке, написана в самобытной манере, с подлинным остроумием и широкой эрудицией, с глубокой увлеченностью. Книга будет с интересом читаться специалистами и

любителями литературы.

В. Муравьев



Путешествие с Гулливером

(1699—1970)



Издательство
«Книга»
Москва
1972

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть первая. Явление неизвестного мореходца - 3

Глава первая, в которой капитан Гулливер ест овсянку, а некто Мартын-писака намеревается проглотить английскую литературу - 3

Глава вторая, в которой обязанности Мартына берет на себя Лемюэль - 14

Глава третья, в которой Лемюэля Гулливера подозревают и уличают в тайных связях с Джонатаном Свифтом - 22

Часть вторая. Отдаленные страны света - 38

Глава первая, в которой капитан Гулливер выигрывает от сравнения с другими путешественниками - 38

Глава вторая, в которой жизнь подтверждает правдивость мемуаров Человека-Горы - 50

Глава третья, в которой записки лиллипута Грильдрига на поверку не обнаруживают ничего фантастического - 64

Глава четвертая, в которой вслед за Гулливером можно убедиться, что наука по-прежнему идет вперед - 80

Глава пятая, в которой читателю предлагается выбирать или же не выбирать между человеком и лошадью - 90

Часть третья. На отмелях века разума - 99

Глава первая, в которой соотечественники капитана Гулливера начинают обижаться на доктора Свифта - 99

Глава вторая, в которой английская серьезность успешно борется с английским юмором - 112

Глава третья, в которой торжествует острый галльский смысл - 125

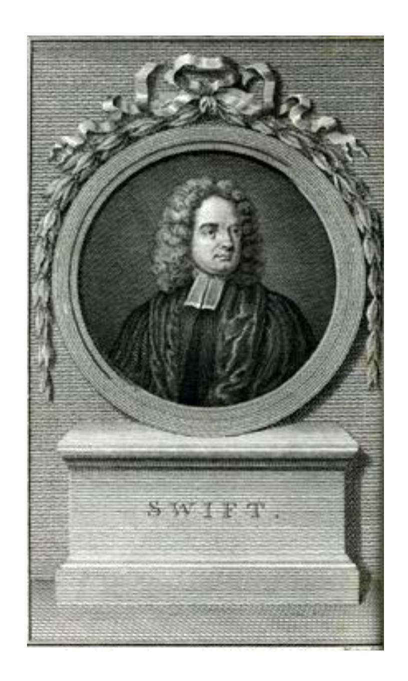
Глава четвертая, в которой преобладает сумрачный германский гений - 139

Часть четвертая. Мертвая зыбь - 150

Глава первая, в которой Лемюэля Гулливера объявляют людоедом и назначают другом детей - 150

Глава вторая и предпоследняя, содержание которой не представит новости для читателя - 175

Часть пятая. Российское пристанище - 191



Текст «Путешествий Гулливера» в оригинале:

http://www.jaffebros.com/lee/gulliver

Один из лучших иллюстраторов Гулливера

GRANDVILLE
French illustrator (1803-1847)

Biography:

Jean Ignace Isidore Gérard, alias Grandville, was born in Nancy in 1803. He goes to Paris at the age of 23, where he makes an stage for Mansion and Hippolyte Lacomte editors. He got his start as illustrator in minor magazines and in designing costumes for theatre. In 1829, when he was 26, he became famous for his Métamorphoses du jour, with caricatures of humans with animal heads. In 1838 he was asked to illustrate Swift's Gulliver, one of his most celebrated illustrated books. He died insane in a menatl home. Surrealist artist consider him their forerunner.



конец дополнения, ldn-knigi)

{3}

Часть первая

ЯВЛЕНИЕ НЕИЗВЕСТНОГО МОРЕХОДЦА

*

Глава первая,

в которой
капитан Гулливер ест овсянку,
и некто Мартын-писака
намеревается проглотить английскую литературу



В 1699 г. Англия еще не называлась Великобританией, не почитала себя империей и была просто великой колониальной морской державой. Мореплавание открывало мир: оно притягивало и создавало купцов, разбойников, путешественников и завоевателей. Карьера мореплавателя была **{4}** завидна, и путешественник был героем дня. Записки о путешествиях раскупались нарасхват.

Представим себе тогдашнего небогатого английского помещика с пятью сыновьями. Уже третьему из них почти ни на какое наследство рассчитывать не приходилось, и в путешественники ему была прямая дорога.

Откроем теперь известную всем и каждому книгу Джонатана Свифта, написанную от лица некоего Лемюэля Гулливера, и прочтем первую фразу первой главы:

«Мой отец имел небольшое поместье в Ноттингемшире; я был третий из его пяти сыновей». Гулливер, понятное дело, пустился путешествовать, а поскитавшись по свету, захотел поведать публике о своих испытаниях и приключениях. Ничего удивительного — обыкновенная история.

Но начавшись самым заурядным образом, история Лемюэля Гулливера, «сначала судового лекаря, а потом капитана нескольких кораблей», кончается весьма странно и зловеще.

Гулливеру не особенно везло: прослужив хирургом на судах дальнего плавания девять с половиной лет, он не стяжал ни славы, ни денег. Дел его не поправили и последние четыре редкостно злополучных вояжа, длившихся (как о том с абсолютной точностью в датах оповещает Свифт) с 1699 по 1715 г.

Впрочем, к концу путешествий у него почему-то пропал всякий интерес к своему благосостоянию, а равно и к людской молве.

Решив скоротать остаток дней подальше от «любезной родины», капитан Гулливер жил на заселенном лошадьми островке в Индийском океане. Облаченный в кроличьи шкурки и башмаки из человечьей кожи, он безмятежно кушал пресную овсянку на молоке и «наслаждался прекрасным телесным здоровьем и полным душевным спокойствием».

Его особенно умиляло здесь полное безлюдье, т. е. **{5}** отсутствие

врачей, юристов, доносчиков, остряков, сплетников, жуликов, бандитов, взломщиков, крючкотворов, сводников, кривляк, игроков, политиков, умников, ипохондриков, пустомель, насильников, убийц, мошенников и сеятелей крамолы, заключенных, приговоренных и пригвожденных к позорным столбам, торговцев, умельцев, хлыщей, хамов, пьяниц, шлюх, сифилитиков, мегер, мотовок, модниц, ученых, закадычных друзей, начальников, скрипачей, судей, а также прочих представителей европейской цивилизации.



Итак, году к 1714 для капитана Гулливера все было решено. Путешествия его завершились менее обычно, чем начались: побывав в «некоторых отдаленных странах света», Лемюэль Гулливер стал униженно гнушаться своей принадлежностью к человеческому роду.

Капитан Гулливер для нас не менее реален, чем любой другой англичанин начала XVIII в.; пожалуй, даже более реален, потому что об англичанах начала XVIII в. нам приходится судить по Лемюэлю Гулливеру. Новооткрытые им страны для нас реальнее, чем для него, потому что он открывал в них ростки того будущего, которое мы можем засвидетельствовать. Но вот его путешествия, увы, — сущее надувательство.

«Отдаленные страны» капитана Гулливера можно было открыть только не выезжая из Англии. И они открылись уму и воображению Джонатана Свифта, великого насмешника, гениального провидца и почти ровесника **{6}** своего героя. Для него, кстати, все тоже решилось году к 1714.

Открывать и изображать будущее он тоже начал примерно с 1699 г. Первым развернутым предсказанием был его памфлет «Сказка бочки» (1704), где изображено победное шествие наглости, тупости и невежества под знаменем буржуазного обновления страны.

Всесторонняя перековка идей и общественных установлений шла в Англии с середины XVII в., со времени гражданских войн и пуританской диктатуры Кромвеля. Власть, по выражению Свифта, «переходила от земли к деньгам», и этот переход сопровождался многочисленными новшествами в науке, экономике и политической жизни. Среди новшеств были и отрадные — отмена цензуры, например, или юридические ограничения правительственного произвола — но обстановка лихорадочного приобретательства, хищнической безответственности и всеобщей продажности не могла не тревожить трезвого наблюдателя. Правда, возникавшее общество нового типа не нуждалось в трезвых наблюдателях, а требовало славословий и драпировалось в прекраснодушные упования.

Словесность превращалась в идеологический аппарат самооправдания нового общества и как никогда подчинялась задаче, определенной Марксом как переработка новых господствующих понятий в вечные истины («Дело в том, что всякий новый класс, который ставит себя на место класса, господствовавшего до него, уже для достижения своей цели вынужден

представить свой интерес как общий интерес всех членов общества, то есть выражаясь абстрактно, придать своим мыслям форму всеобщности, изобразить их как единственно разумные, общезначимые» (Маркс К. и Энгельс Ф. Немецкая идеология. Сочинения. Т. 3, с. 47).).

«Высший предел утонченного блаженства, — **{7}** издевался Свифт в «Сказке бочки», — есть состояние человека ловко околпаченного: благостно-спокойное состояние дурака среди плутов».

Свифт сознавал необходимость и неизбежность обновления английского общества. Он лишь не без оснований полагал, что все, а особенно научные новшества могут быть употреблены во зло из-за корысти, скудоумия и безответственности опьяненных обновителей. Опаснее всего, считал он, опьяняться утопиями, будь то монархические видения абсолютного благолепия или буржуазные проекты устроения всеобщего блаженства («рабство всеобщего благосостояния», как позднее выразился Герцен). В свифтовские времена видения отступали в прошлое; проекты же имели перед собой будущее. Кромвелевское благоустройство, «новое рабство, в чем-то даже более безрадостное, чем прежний вековечный гнет» (Аникст А. Джонатан Свифт и его «Путешествия Гулливера». — В кн.: Свифт Дж. Путешествия Гулливера. М., 1967, с. 16.), показало, чего надо ждать от сбывающихся буржуазных утопий. Поэтому Свифт и обратил свой сатирический пафос, жестокий пафос трезвости, против блаженно-идиотических приветствий грядущей тирании практицизма, посредственности и недомыслия. Поэтому он и назвал себя в своей эпитафии, на удивление многим современникам и потомкам, «упорным защитником мужественной свободы».

Ирония и трезвость мысли были для Свифта почти синонимами. Он не проклинал, а высмеивал, причем считал, что лучший способ скомпрометировать господствующие понятия и социальные типы — это изобразить в лицах их саморазоблачение. С этой целью он и создавал свои бесчисленные пародии, личины и мистификации, **{8}** открывающие глаза. Такова харя подставного «Автора» в «Сказке бочки», таков рассудительный либеральный холуй в «Возражении против отмены христианства в Англии», таков же светский патриот-предсказатель эсквайр Исаак Бикерстаф и т. д.

Всю жизнь он смеялся над претензиями на абсолютную правоту, на обладание абсолютной истиной в последней инстанции, смеялся над любым земным культом, будь то культ человека, общественного установления или идеи. Будучи доктором богословия и священнослужителем, к религии он в принципе относился серьезно, но и она бывала ему смешна, когда становилась манией величия или манией правоты: ко всякой повышенной религиозности он относился недоверчиво. (Религию доктор Свифт рассматривал как раз навсегда данный свод правил, посредствующих между истиной и человеческой жизнью, и правила эти, по Свифту, подлежат не обсуждению и не рассмотрению, а выполнению. Церковь же призвана изо дня в день следить за их выполнением, а более всего — за тем, чтобы их постоянное нарушение не находило себе оправданий, кроме оправдания человеческой слабостью. Такая позиция была отнюдь не в духе нового времени, и многим современникам и потомкам Свифта она казалась просто вариантом стоического безбожия или безбожного стоицизма.)

Пожалуй, из всех новшеств он больше всего презирал религиозные, ибо знал, как опасно сорвавшееся с цепи религиозное чув-

ство.

Свифт-церковник был решительным ретроградом; это, кстати, и привело его к сближению с умеренными консерваторами, сближению, в результате которого он три с лишним года диктовал политику английского правительства — в качестве внештатного министра пропаганды.

В 1710 г. в суматохе политических превратностей **{9}** образовалось правительство, способное, по мысли Свифта, оздоровить общественную атмосферу страны, хоть как-то укротить разнузданную свистопляску, сопровождающую преобразования. За последние восемь лет свистопляска стала уже совсем оголтелой: Англия победоносно участвовала в громадной бойне под откровенным названием «Война за испанское наследство», и казалось, не будет конца этому круговороту триумфов, наград, жульничеств, грабежей, разорений и обогащений.

Консервативные лидеры получили власть как бы под залог прекращения войны (прежнему правительству это было весьма не с руки), и доктор Свифт как нельзя лучше помог своим новым друзьям справиться с этой задачей, обработав в свою пользу общественное мнение и сколотив межпартийное большинство в парламенте. Он же вдохновил и дальнейшие предприятия нового правительства, направленные на стабилизацию политической жизни, укрепление позиций государственной церкви и оттеснение от власти «денежных людей».

От лица правительства он выступал за «политику здравого смысла», но знал лучше всякого другого, что резервов здравого смысла у правительства немного. Для здравомыслия и связанной с ним политики обуздания буржуазных обновителей требовалась надежная идейная основа — и Свифт попытался создать своего рода «мозговой трест», литературно-общественный клуб нужного направления. Клуб должен был координировать усилия и таланты и стать под руководством Свифта идеологическим фильтром умственной жизни страны.

Осенью 1713 г. ядро такого клуба составили пять человек, и это уже было достаточно мощное сообщество. Властитель мнений тогдашней Англии, ученый и изящный журналист Джозеф Аддисон еще в 1707 г. льстиво, но верно назвал Свифта «величайшим гением своего **{10}** века». Кроме же Свифта в синклит входили грядущий законодатель английского классицизма и крупнейший английский поэт XVIII в. Александр Поп; математик, физик, биолог, памфлетист и лейб-медик королевы Анны добрейший и остроумнейший Джон Арбетнот (скупой на комплименты Свифт писал впоследствии, что будь в мире еще дюжина таких же, он сжег бы свои «Путешествия Гулливера»); самый веселый и, может быть, самый язвительный литератор тогдашней Англии, будущий автор знаменитой «Оперы нищих» Джон Гэй; наконец, тонкий и трезвый эрудит, задумчивый стихотворец Томас Парнелл.

Общество лучших друзей Свифта и начинающих классиков английский сатиры собиралось не зря. Для начала имелась идея Попа: основать сатирическое издание «Неученые труды» как бы взамен только что прекратившегося солидного научного журнала «История трудов ученых». Но Свифту этого было мало: он хотел, не ограничиваясь литературными затеями, превратить кружок друзей в руководящий идейный центр Англии. Нужно было изобрести что-то вроде коллективного псевдонима, общего лица, точнее личины, годной на все случаи жизни, своеобразной установки для контроля над всей печатной продукцией Англии.

Тогда еще не существовало нынешних почти непреодолимых границ, разделяющих естественнонаучное исследование, философский или социально-экономический трактат, политическую информацию и пропаганду и беллетристическое сочинение. Трактаты писались стихами, а стихи складывались в трактаты (в молодости Свифт даже пытался изъяснять свои взгляды в одах). Границы, разумеется, уже наметились, но дистанция между «Математическими основаниями естественной философии» Ньютона и «Сказкой бочки» Свифта была **{11}** куда меньше, чем, скажем, между трудом Эйнштейна и «Волшебной горой» Томаса Манна. Ньютон был фигурой также и в республике словесности; «Сказка бочки» вызывала размышления и отповеди ученых естествоиспытателей. Почти всякое сочинение имело оттенок мировоззренческого эссе.

Кружок стал еженедельным клубом Мартинуса Скриблеруса, Мартына-писаки. К началу 1714 г. Мартинус приобрел внешность, склонности и историю жизни. В это самое время один из друзей Попа переводил, при живейшем содействии членов клуба, «Дон-Кихота», и Мартинус получил напрокат худобу, угрюмство и восторженность Рыцаря Печального Образа. Страстью его жизни была сделана, однако, не защита угнетенных, а всемерное изыскание истин под знаком науки.

Писакой Мартинус прозывался неспроста: мало того, что все пятеро скриблерианцев обязывались по мере сил поставлять его сочинения, вдобавок его прочили на роль «истинного автора» многих чужих открытий, проектов и произведений, вплоть до богословских и естественнонаучных трактатов. Таким образом, тень иронической мистификации (любимый прием Свифта) должна была стать вездесущей, и читатели опасались бы принимать всерьез любое сочинение: ведь неутомимый Скриблерус мог бы объявить всякую подлинную фамилию своим псевдонимом, а уж несколько самых острых сатирических перьев Англии отстояли бы «права» Мартинуса на чужие нелепости, превратили бы в посмешище кого угодно и «скормили» бы Мартинусу половину английских сочинителей, а публике пришлось бы их либо оплакать, либо и вправду добить смехом.

Скриблерианцы собирались взять под усиленный обстрел естественные науки; это, разумеется, относилось не к формулам и изысканиям, а к идеологическим **{12}** испарениям практицизма, наукообразного упрощенчества и примитивного детерминизма — ведь именно эти испарения доносились до чутья широкой публики. И на пути этих испарений воздвигалась преграда смеха — придурковатая восторженность вечного труженика науки и радетеля о всеобщей пользе Мартинуса Скриблеруса.

Итак, во главу угла ставился принцип разрушения идейных структур изнутри посредством пародии; требовалось овладеть словесностью, очистить и оздоровить ее смехом. Эта деятельность и «политика здравого смысла» должны были сопутствовать друг другу.

Правительство, однако, мягко и дружественно давало понять, что ему нужно не здравомыслие, а козыри в политической игре; что оно приветствует услуги доктора Свифта и его присных — но не в качестве идеологов, а в роли управителей делами насущной пропаганды. В этом был свой резон: у власти могло удержать никак не здравомыслие на свифтовский манер, а широковещательный сговор с той или иной группой влиятельных лиц. Словом, постепенно стало яснее ясного, что правительство не может и не собирается придерживать колесо истории,

как того хотелось бы доктору Свифту.

В какой-то мере Свифт понимал это с самого начала; в конце концов он понял это в полной мере, и у него опустились руки. В мае 1714 г. Свифт удалился от дел политических и литературных и приготовился отбыть в Ирландию, где он за год до этого получил пост настоятеля (декана) собора св. Патрика в Дублине.

Друзья Свифта — канцлер казначейства Роберт Харли (он же граф Оксфорд) и государственный секретарь Генри Сент-Джон (он же виконт Болинброк) — оставались у власти еще несколько месяцев. Впрочем, могло бы статься, что правительство перестроилось и уцелело бы — если бы не умерла благосклонная к ним королева **{13}** Анна, если бы два лидера не водили друг друга за нос, а скорее помирились или вовремя рассорились и отыскался бы план решительных действий, если бы удалось правильно сыграть на расстановке сил... Могло быть и так. Свифта это как-то перестало интересовать. Практическая политика никогда его особенно не интересовала — разве как рычаг для осуществления широких замыслов; но вот лишний раз подтвердилось, что его широкие замыслы никак не увязаны с практической политикой. Он как будто очнулся после нескольких лет треволнений и замыслов — и оказалось, что не было ни великого предприятия, ни даже большой игры: просто его друзья впутались в пустячную (тогда еще нельзя было сказать «лиллипутскую») политическую передрягу, «Будь они людьми помельче, им бы больше повезло», — писал он впоследствии.

Таким образом, все подвиги Мартинуса Скриблеруса остались пока в проекте. Он родился лишь в воображении и разговорах свифтовской пятерки; никакие печатные обстоятельства его рождению не сопутствовали. Кое-что было набросано начерно, только и всего. Мартинус долго еще оставался неизвестен публике, а когда его облик возник в позднейших сочинениях скриблерианцев, то читатели вряд ли могли судить по обломкам замысла о его первоначальном виде.

И все же скриблерианцы действовали как будто по намеченному: словесностью они овладели, и их произведения несколько последующих десятилетий были стержнем умственной и нравственной жизни Англии. Сам по себе замысел не удался, но отблески его видны в книгах Попа, Гэя, Арбетнота. С отблеском, а вернее с тенью этого замысла на лице явился в 1726 г. в Лондон посланник доктора Свифта из Ирландии — капитан Лемюэль Гулливер.

{14}

Глава вторая,

в которой обязанности Мартына
берет на себя Лемюэль

В Ирландии доктор Свифт со временем занялся ни больше ни меньше как гражданским воспитанием целого народа и стал его национальным героем, тем деканом Свифтом, имя которого и поныне ирландцы произносят с благоговением. Но это совсем другая история, имеющая косвенное отношение к той, которая привела капитана Гулливера на вышеупомянутый островок в Индийском океане.

Прежде чем углубиться в ирландские дела, надо было свести старые счеты. И после шести лет угрюмого молчания, понемногу

рассеявшись, Свифт обратил свой насмешливый взгляд на покинутую Англию. Он намеревался дать ей прощальный урок в скриблерианском духе, но без былых надежд. Англичанам предстояло выслушать его последний совет — совет оставить всякие упования на будущее. Так султаны посылали опальным пашам шелковый шнурок — рекомендацию и средство удавиться.

Нельзя сказать, чтобы Свифт предпринял тем самым нечто для него радикально новое Его аргументы и поучения всегда были наполовину издевательскими, а в «Сказке бочки» насмешка не знала пределов. Теперь же он просто изыскал способ единовременно погасить все свои смеховые задолженности, выдать некую универсальную пародию, в принципе устраняющую надобность далее пародировать что бы то ни было. Никого не требовалось больше воспитывать, никого не надо было уличать в грехах. Все грехи, кроме гордыни, отпускались разом.

{15}



{16} «Меня ничуть не раздражает вид судейского, карманного вора, полковника, шута, вельможи, игрока, политика, сводника, врача, лжесвидетеля, соблазнителя, стряпчего, предателя и им подобных; существование всех их в порядке вещей. Но когда я вижу уродливый ком, больной духом и телом, да еще охваченный гордостью — тут сразу настает конец моему терпенью...» Декан Свифт выдавал человечеству индульгенцию на все времена вперед; он объявлял людей свободными от обязательств перед разумом и нравственностью за полной неспособностью к тому и другой. Он, разумеется, шутил, но нужно было желание разбираться в его шутках, чтобы эта не звучала как надругательство.

Форма этой универсальной пародии, этого моралистического трактата, отказывающего человечеству в «естественной» морали, была предуказана еще в скриблерианские времена, на собраниях клуба. Тогда были написаны семь или восемь глав «Мемуаров Мартинуса Скриблеруса», в которых главный гений современности представлялся публике; и где-то в дальнейших главах намечалось описание невероятных путешествий и умопомрачительных открытий этого человека науки.

Не удивительно, что путешествия были тогда же препоручены доктору Свифту. Еще в 1705 г., в списке якобы готовых к печати писаний малограмотного, восторженного и науколюбивого «Автора» опубликованной тогда «Сказки бочки» значилось «Путешествие в Англию знатной персоны из Неведомой Южной Земли, переведенное с оригинала».

В 1711 г. Свифт досадует в письме, что один из его прежних друзей-журналистов извел на шутливую статейку давнишний свифтовский «великолепный замысел» «об индусе, будто бы описывающем свои путешествия по Англии... Я собирался написать об этом целую книгу».

К 1714 г. характер задуманных путешествий **{17}** изменился, и предполагаемым героем-описателем их стал Скриблерус. Собиратель курьезов и благодетель человечества отправлялся к эфиопскому двору через Нубийскую пустыню и переносился на спинах кондоров в исконный заповедник наук — Китай. Нубия — установленное еще с античных времен местожительство пигмеев; поэтому позднейшие припоминания Попа, что «в путешествиях Скриблеруса были пигмеи и лапутянские проекты», звучат вполне правдоподобно. Однако Скриблерус — еще не Гулливер, пигмеи — еще не лилипуты, а наукообразная китайщина — еще не лапутянская диктатура ученых. Все же проекты путешествий явно обсуждались скриблерианцами, и кто знает, сколько будущих подробностей гулливеровых странствий упоминалось тогда. Во всяком случае Свифт воплотил позднее именно скриблерианский дух подрывающей и вразумляющей пародии, создав действо о капитане Гулливере.

«Мемуары Мартинуса Скриблеруса» были впервые опубликованы в 1741 г., во втором томе собрания сочинений Попа. Все, что говорится там о странствиях Скриблеруса, сказано с оглядкой на давно вышедшие «Путешествия Гулливера», а следующее издание «Мемуаров» сопровождено угрозой издать «Вторую книгу»; «Путешествия Мартинуса Скриблеруса, уличающие мнимого их автора и устанавливающие подлинного».

В XVI главе «Мемуаров» также сообщается, что путешествия автора уже описаны и вот-вот выйдут в свет:

«... и если кому-нибудь попадутся такие весьма необычайные путешествия в такие весьма необычайные страны, на каковых путешествиях лежит печать руки Философа, Политика и Законодателя; и если этот кто-то вообразит, будто их написал Корабельный Хирург или Капитан Торгового Судна, то пусть себе пребывает в невежестве.

{18} И кто бы он ни был, тот, который узрит к тому же на каждой странице Путешествий сердечную Любовь к Человечеству, несокрушимую Верность Истине, Пристрастие к Родной Стране и особую приязнь к замечательной Монархине Королеве Анне (славословие королеве Анне было на всякий случай вставлено печатником в первое издание «Путешествий Гулливера». — *В. М.*); и кто бы он ни был,

придется, конечно, его пожалеть, если он по всем этим явственным Признакам и Свойствам не распознает и не удостоверит руку Великого Скриблеруса».

О самих же «Путешествиях Мартинуса Скриблеруса» сообщается («ибо пока не время открыть более»), что автор их имеет «сильнейшее отвращение к Законам, как это ясно из целой главы Путешествий». Наделен он также и «неприязнью к Прекрасному Полу, которому он в некоторых случаях не выказывает всего должного Почтения и Восторга. По этой же причине, разумеется, ни в одной части его Путешествий не можем мы найти влюбленной в него Чужеземной Принцессы».

Пока что читателю позволено знать о Мартыне-путешественнике, что «в первом странствии попутный шторм помог ему открыть остатки древней Пигмейской Империи.

Что во втором его так же счастливо прибило кораблекрушением к Стране Великанов, ныне самого человечного народа в мире.

Что в своем третьем путешествии он открыл целое Королевство Философов, правящих посредством Математики; нагруженный их изумительными Схемами и Проектами, он вернулся, дабы облагодетельствовать свою Родную Страну, но по несчастью Проекты были отвергнуты завистливыми Министрами Королевы Анны, а его самого предательски отослали прочь.

Посему и случилось, что в своем четвертом **{19}** путешествии он обнаруживает Наклонность к Меланхолии и едва ли не Отвращение к сородичам; но более всего смертную Ненависть ко всей гнусной министерской породе; а в конце концов даже решает не представлять меморандум Государственному Секретарю, чтобы открытые им Страны не были приведены под владычество Британской Короны».

Все это, конечно, написано задним числом о «Путешествиях Гулливера» и адресовано чуть ли не тому же Свифту в качестве запоздалого шутливого поздравления от былых единомышленников, из которых к этому времени один только Поп и остался в живых. Тремя годами позднее умер и Поп, а декан Свифт, он же капитан Гулливер и Мартинус Скриблерус, еще в 1742 г. впал в беспамятство и слабоумие.

А за двадцать лет до опубликования «Мемуаров Мартинуса Скриблеруса», «подлинного автора «Путешествий Гулливера», декан Свифт сообщил лондонскому другу: «Я сейчас пишу историю своих Путешествий, которая составит большой том и даст отчет о странах, доселе неведомых; подвигаются они, однако же, медленно за недостатком здоровья и настроения».

Эта новость дошла до бывшего государственного секретаря Англии виконта Болинброка, который жил тогда изгнанником во Франции. Тот вскоре пишет Свифту: «Горю желанием видеть Ваши путешествия, ибо как знаете, а я стою на своем и берусь найти на двух страницах любых Ваших безделок более здравого смысла, полезных сведений и истинной религии, чем Вы мне отыщете в трудах девятнадцати или двадцати нынешних богословов или философов».

Еще один близкий друг Свифта, женщина, которую он называл Ванессой, пишет ему в июне 1722 г., как, находясь в роскошной гостиной среди разодетых щеголей **{20}** и щеголих, она вдруг прозрела и увидела, что перед ней гримасничают, кривляются, и тараторят громадные обезьяны обоего пола, и когда одна из них с игривыми ужимками отобрала у нее веер, то ее взял смертный страх, что сейчас ее схватят и будут таскать по крыше дома, пичкая жеваными объедками, «как это

случилось с Вашим другом». «Друга» Свифта, капитана Гулливера таскала по крыше гигантская обезьяна в пятой главе путешествия в страну великанов. Сборище, подобное описанному, забрасывало его нечистотами в первой главе путешествия в страну лошадей. Стало быть, капитан Гулливер уже объявился, а оба эти путешествия уже свершились, хотя описание последнего к тому времени еще не было закончено.

Но уже в январе следующего года Свифт извещает:

«Я покинул Страну Лошадей и пребываю на летучем острове, где долго не задержусь, и два мои последних путешествия вскоре закончатся». Тут же он объявляет о своей «ненависти к йэху обоего пола» и о том, что он терпит лишь немногих из них «за недостатком гуигнгнмов». В феврале месяце он жалуется на Болинброка: тот «болтает о гуигнгнмах, будто знаком с ними»; между тем путешествия и приключения капитана Гулливера еще никому толком не известны. Однако он намерен вскорости вернуться вместе с Гулливером с летучего острова (третье из четырех путешествий капитана было описано в последнюю очередь) и сулит тому же Болинброку, если он вернется в Лондон из французского изгнания, встретить его там «нагруженным путешествиями». Видимо, оставалось только переписать их для печати с попутной правкой.

Лето 1725 г. он провел в глухой ирландской деревушке среди скал и болот, и в сентябре, намекая в письме к Попу на свой возможный визит в Лондон, заодно **{21}** обмолвился, что «был занят, помимо рытья канав, окончанием, правкой, отделкой и перепиской моих Путешествий в четырех частях». Ирландским друзьям «Путешествия» стали известны еще в черновиках; одного из них Свифт наставлял: «... присядьте, успокойтесь, займитесь своим делом, как оно и положено, не заводите лишних друзей, ждите от людей лишь того, на что способны эти животные, — и будете, что ни день, поражаться достоверности моего описания йэху».

Поп не был в курсе этого описания и на сообщение о приезде и «Путешествиях» ответил Свифту радостно и наивно: «После стольких лет забытья и поденщины мы сможем собраться вдвоем-втроем, и не с тем, чтобы строить заговоры, лелеять честолюбивые замыслы, озлоблять свои или чужие сердца неугомонной тщетой, а чтоб развлечься самим или поразвлечь свет, если он того пожелает; на худой конец, посмеемся над другими так же невинно и добродушно, как над собой. О Ваших Путешествиях я наслышан: сам же я больше в чужую страну ни ногой...» (он намекал, что ему опостылел переводческий заработок).

Свифт возразил ему добродушно, но твердо: «Встречу нашу после стольких лет бедствий и поденщины Вы расписали хорошо; но я во всех трудах моих более расположен озлоблять свет, нежели развлекать его, и знай я, как это устраивать без вреда для себя и своего имущества, я бы стал самым неутомимым писателем, какого Вы только видели — но покамест не читали». Он кое-что поясняет: «Я собрал материалы для трактата, доказующего ошибочность определения animal rationale (Разумное животное *(лат.);* одно из определений человека.); оно должно быть лишь rationis capax (Способное к разуму *(лат.)*.). На этом великом **{22}** мизантропическом основании... воздвигнуто все строение моих Путешествий; и я не успокоюсь, доколе все честные люди не будут того же мнения, так что Вам надлежит усвоить его немедля и принять меры, чтобы все, кто ценит мое расположение, сделали то же».

Поп сразу меняет тон — скорее, впрочем, обрадованно, чем обескураженно (надо думать, его прошлое письмо было пробным шаром): «Я было воображал, что нам надлежит встретиться, подобно праведникам за гробом, в покое и забвении былых страстей, улыбаясь прошлым замыслам... Но Вы, кажется, предпочитаете явиться к нам грозным ангелом мщенья и излить фиал негодования на головы презренных и жалких тварей мира сего, хотите загнать им в глотки Вашу книгу; надо думать, что лекарства горше и быть не может».

Арбетнот приписывает: «Что до Вашей книги (о которой я уже успел вывести понятие, что человечеству придется от нее худо), то скорее я сам буду ее набирать, чем она останется в рукописи».

Глава третья,

в которой
Лемюэля Гулливера подозревают
и уличают в тайных связях
с Джонатаном Свифтом

На другой год Свифт и вправду выбрался в Англию. Сначала он заехал в Лондон, где повидал Арбетнота и устроил себе свидание с премьер-министром, которому прочел нотацию за английскую политику в Ирландии. На лето декан вместе с Гэем отправился в местечко Твикенхэм, в тамошнюю усадьбу Попа, и трое бывших скриблерианцев проводили время в беседах, прогулках **{23}** и визитах. Болинброк недавно перестал считаться изменником и вернулся из Франции: он адресовал свои письма «трем твикенхэмским йэху» и бывал у них наездами.

Пятнадцатого августа корабль Свифта отплывал в Ирландию. Восьмого вечером издатель Бенджамин Мотт пошел отворять позднему гостю, но гостя не оказалось; зато на крыльце лежал сверток с рукописью и письмом. Неизвестный мистеру Мотту Ричард Симпсон предлагал его вниманию четвертую часть «сокращенных записок» своего кузена, капитана Лемюэля Гулливера. «Некоторые весьма рассудительные и достойные люди» уверили мистера Симпсона, что издание этих записок послужит к выгоде книгопродавца. «И хотя кое-какие части этого и последующих томов могут показаться в одном-двух местах слегка сатирическими, однако же все соглашаются, что лично никто не задет». Впрочем, мистер Мотт волен судить сам и посоветоваться с друзьями, после чего либо возвратить рукопись нижеуказанным способом не позднее чем через три дня, либо дополучить остальные тома записок и принять нижеизложенные финансовые условия, надо сказать, довольно суровые, ибо автор записок намерен употребить выручку «на пользу обедневшим морякам».

Мистер Бенджамин Мотт ответил утвердительно через два дня; тринадцатого августа он получил остаток манускрипта и лаконичную инструкцию отпечатать записки в двух томах, которым надлежит выйти одновременно, не позднее рождества. Это была самая выгодная сделка в его жизни.

Скриблерианцам было настрого ведено соблюдать конспирацию в разговорах и письмах: декан Свифт, в отличие от «Ричарда Симпсона» и упомянутых им экспертов, прекрасно знал, сколько влиятельных лиц при дворе, в правительстве и в мире науки явственно и **{24}** немилосердно

«задеты» в «Путешествиях» симпсоновского кузена. Декан, впрочем, был излишне опаслив; он чересчур привык к судебным преследованиям за памфлеты в своей Ирландии. Кроме того, он переоценивал читательскую сметливость влиятельных лиц: те были готовы счесть «Путешествия» хотя и язвительной, но беллетристикой, а в этом случае оскорбляться насмешками было бы дурным тоном. Наконец, они могли попросту не понять всей силы издевательства; еще в «Сказке бочки» «поверхностному читателю» было рекомендовано бессмысленно смеяться: смех «очищает грудь и легкие, является превосходным средством против хандры и самым безвредным из всех мочегонных». На этот раз смеху было еще больше.

В октябре Гэй сообщил, что дела «другого джентльмена» подвигаются согласно указаниям; в ноябре Арбетнот описал первую читательскую реакцию. Такого успеха не бывало со времени знаменитого приключенческого романа-проповеди XVII в. «Пути паломника» Джона Бэньяна: теперь, напротив, роман-проповедь не имел бы никакого успеха, а «Гулливер у всех в руках». «Счастливый человек Гулливер, что мог в наш век написать такую веселую книгу!»

Его читает принцесса и заходится от смеха над намеками на брата — наследника престола. Кое-кто ворчит, что намеков очень много: надо было приложить ключ, а то не всем все понятно. Он, Арбетнот, считает, что слабее всего путешествие к прожектерам. Лорд Скарборо, стремянный принца Уэльского и «отнюдь не выдумщик», говорил ему, что свел знакомство с одним шкипером: тот, оказывается, хорошо знаком с Гулливером и говорит, что все верно, только наврано, будто капитан живет в Ротергисе — он в Уэпинге живет. Один старый джентльмен, которому Арбетнот дал почитать **{25}** «Путешествия», тут же уселся наносить на карту новую страну Лиллипутию.

Поп добавляет через несколько дней: «Поздравляю Вас прежде всего с изумительной книжкой Вашего кузена, которая ныне забава для всей читающей публики, а в будущем, я предрекаю, станет восторгом всего человечества. Иные деятели строят по ее поводу преуморительные мины; хотел бы я расписать Вам всех читателей порознь, целую неделю только их и наблюдаю... И надо сказать, мои ожидания не обмануты. Не нахожу, чтобы кто-нибудь достойный внимания сильно осердился бы на эту книгу. Кое-кто, правда, считает, что писано чересчур смело и ни к чему такая всеобщая сатира; но о клеветнических измышлениях при мне речи не было... так что Вам не было нужды так секретничать. Мотт говорит мне, что рукопись явилась нивесть откуда и нивесть от кого: подбросили к его крыльцу с наемного кэба. Я сличил сроки и вижу, что Вас к тому времени в Англии уже не было, а посему покамест умолкаю».

Обоим вторит Гэй: «Дней десять назад здесь была опубликована книга Путешествий некоего Гулливера, о которой весь город с тех пор только и говорит. Первый тираж распродали за неделю; и разные мнения о книге одно другого забавнее, хотя всем она чрезвычайно нравится. Говорят, будто Вы автор, но мне рассказывали, что книгопродавцу неизвестно, откуда она взялась. Читают ее повсюду, от мала до велика, от кабинета министров до детской. Политики все как один согласны, что клеветнических измышлений там нет, но что сатира на человеческое общество чересчур сурова. Время от времени, конечно, попадаются и люди более дотошные, которые доискиваются особых разъяснений к каждой странице, и весьма вероятно, что у нас опубликуют ключ, дабы пролить свет на гулливеровский замысел.

{26} Ваш лорд Болинброк — самый строгий критик: он винит автора в злонамеренном умысле принизить человеческую природу... Ваш друг лорд Харкурт книгу очень хвалит, хотя думает, что кое-где там все же перехвачено через край. Вдовствующая герцогиня Мальборо в упоении: она говорит, что с тех пор, как прочла ее, ни о чем другом и думать не может; ей открылось, по ее словам, что она попусту провела жизнь, ублажая худшую часть человечества и враждуя с лучшей, и что знай она Гулливера, то, хотя худшего врага у нее не было, она отдала бы все свои нынешние высокопоставленные знакомства за его приязнь (Герцогине Мальборо, вдове скомпрометированного Свифтом полководца, осмеянной и едва ли не оклеветанной в одном из свифтовских стихотворных пасквилей, было отлично известно, кто автор «Гулливера». Тем ценнее ее признания, кстати, абсолютно бескорыстные.).

Так что, сами видите, Вам никак не вредит, что Вас считают почему-то автором этого сочинения. Если это так, то одолжили Вы, нечего сказать, нас, двух или трех Ваших лучших друзей, даже не намекнув об этом, когда были здесь. Особенно огорчается доктор Арбетнот: у него тысяча сожалений, что он об этом не знал, он столько мог бы добавить по каждому поводу.

Леди находят, что мистер Гулливер до крайности нелюбезен к фрейлинам. Дамы — завсегдатаи церкви — говорят, что умысел его неблагочестив и что он оскорбляет Провидение, принижая достижения Творца... Иные критики полагают историю с летучим островом наименее занимательной: а так как весь город согласен, что Гулливер сплоховать не мог, то усматривают здесь чужую руку. А впрочем, и у этой части есть защитники. Книгу одобрили лорды и общины, ни одного голоса против; и **{27}** ведь город — мужчины, женщины и дети — только ею и занят.

...Лучше всего было бы явиться Вам сюда самому, и здесь прочесть ее; в комментаторах недостатка не будет, и Вам разъяснят все самые трудные места».

Лондонская приятельница Свифта прислала ему письмо, до того переполненное скрытыми и явными отсылками к «Путешествиям» (подписано оно было, например, «решето-йэху», что у дешифровщиков в «некоторых отдаленных странах» значило фрейлину), что сам декан ответствовал: «Получивши Ваше письмо... я не мог там понять и двух слов кряду». Впрочем, он прибавляет: «... так я недоумевал четыре дня, пока книгопродавец не прислал мне «Путешествия» капитана Гулливера». Далее замечено: «...я не такой продажный льстец, как Гулливер, главное занятие которого — смягчать пороки и преувеличивать добродетели человечества. У меня в ушах звенит от его похвал своей стране, которая погрязла в мерзостях».

Но корреспондентка получила письмо и от самого мистера Лемюэля Гулливера с приложением императорской короны Лиллипутии («Я нашел ее в уголку жилетного кармана, в который запихал большую часть ценностей из императорских покоев во время дворцового пожара, и ошибкой увез кое-что в Англию»). Путешественник благодарил за доверие к его правдивости и добросовестности и недоумевал, почему фрейлины в обиде на него: «По глупости моей не понимаю, чем я им не угодил: обидел я их, что ли, сообщением, что юные леди читают романы? (Ср. «Путешествие; в Лиллипутию», гл. V: «...покои ее императорского величества были объяты пламенем по небрежности одной фрейлины, которая заснула за чтением романа, не погасив свечи». Вообще же всякому читателю, памятующему описания обнаженных прелестей гигантских фрейлин в гл. V «Путешествия в Бробдингнег», обида их английских сестер вполне понятна.).

Или, может быть, я **{28}** воспользовался неприличным приспособлением, когда тушил пожар, возженный небрежной фрейлиной? И позволю себе заметить, что попадись юным леди при нашем дворе человечек столь незначительный, каким я был в Бробдингнеге, они обходились бы с ним так же бесцеремонно».

Попу декан отвечает: «Я прочел эту книгу и заметил во втором томе несколько пассажей не то вставленных, не то измененных (стиль там что-то не тот, если я не ошибаюсь). Доктору Арбетноту не нравятся прожектеры, другим, как Вы мне сообщаете, Летучий Остров; иные усматривают там жестокое обхождение с целыми обществами и корпорациями; общее мнение, однако, таково, что автора надлежит более всего винить за оскорбление личностей. По мне, так пусть осуждают и рассуждают, пока есть охота. Здесь один епископ заявил, что эта книга полна самых невероятных выдумок, и лично он не верит там почти ни единому слову; ну, и будет о Гулливере».

Между тем из Лондона поступали все новые известия. Давний политический соратник и почитатель Свифта лорд Питерборо извинялся, что не овладел еще новейшим, гулливеровским наречием и пишет поэтому на языке йэху. «Новомодный же язык изучают повсюду, все отрабатывают произношение... и на следующем оперном представлении будет исполнен лошадиный дуэт». Страна встревожена слухами: одни боятся перерасти в гигантов, другие — опигмеиться; материки и острова переименовывают по гулливеровским указаниям, и каждый муж опасается, что жена его родит дитя о четырех ногах.

{29} «Недавно было решено, что вся эта неразбериха учинилась... чарами небезызвестного колдуна-писаки, на котором сошлись все подозрения и которого собираются отдать на милость инквизиции». «Есть доказательства, что он меняет обличья: иногда он суконщик, иногда — хирург из Уэпинга; то он нардак (Этот высший, титул Лиллипутии был пожалован Гулливеру.), то — его преподобие, Оказывается, он даже умеет воскрешать мертвых: его стараниями с того света явился караван философов, героев и поэтов, а он задал им несколько вопросов и отправив танцевать кадриль на его Летучем Острове». Еще несколько дней назад считалось, что костра этому негодяю мало. Но («каковы превратности лиллипутской жизни!») вот уже королева благоволит к нему, и капитану Гулливеру осталось только начистить мелом туфли, научиться, как это требуется от лиллипутских сановников, танцевать на канате — «и я надеюсь дожить до его превращения в епископа, истинно, истинно этот титул никогда еще ему так не грозил».

Свифт, однако, не предвкушает епископского титула и не упивается авторским триумфом: его волнует не столько успех книги, сколько искажения ее текста. Печатник Бенджамин Мотт получает из Дублина письмо от «одного из друзей предполагаемого автора». Там объясняется, что некоторых верноподданнических пассажей этот автор никак написать не мог; к письму приложен список опечаток.

В феврале 1727 г., когда «Путешествия» были прочтены не только в Лондоне, но и в Дублине, Свифт пишет: «Что до капитана Гулливера, то в нашем королевстве, изобилующем отличными судьями, эту книгу весьма осуждают; в Англии же, как я слышал, книгопродавец на ней разбогател... Я со своей стороны склонен **{30}** полагать, что книга сильно изуродована в печати, ибо кое-где стиль вдруг резко меняется; впрочем, я услышу об этом подробнее, когда буду в Англии».

В Англии готовилось второе издание, и Поп испрашивал позволения сопроводить его пятью своими стихотворениями: 1. Куинбусу Флестрину, Человеку-Горе; ода, написанная Титти-Титом, поэтом-лауреатом его лиллипутского величества; 2. Жалобы Глюмдальклич о потере Грильдрига; 3. Мистеру Лемюэлю Гулливеру; благодарственный адрес несчастных гуигнгнмов, изнывающих в Англии под бременем рабства; 4. Мэри Гулливер — капитану Лемюэлю Гулливеру; послание;
5. Речь бробдингнежского короля.

Поп несколько стеснялся своих опусов перед деканом; но тот проявил к ним благосклонность. Не удивительно: эти пять стихотворений более свидетельствуют о внимательном чтении и понимании «Путешествий», чем десятки ученых и неученых томов позднейшей критики. Во-первых, Попу было ясно, что «Путешествия» — неисчерпаемо смешная книга; во-вторых, что это — универсальная пародия, где действительность преображена в целый мир странных персонажей и причудливых отношений; в-третьих, он нащупал острие свифтовских насмешек, когда написал!

When pride in such contemptuous Being lies,
In Beetles, Britons, Bugs and Butterflies,
Shall we, like Reptiles, glory in conceit?
Humility's the virtue of the great.

(«Речь бробдимюэкского короля»)

(«Коль гордость живет в таких жалких тварях, как жуки, британцы, клопы и бабочки, то подобает ли нам пресмыкаться в самодовольстве? Великим прислало смирение».).

{31} Публика с восторгом приняла и второе издание, и сопроводительные стихи. Особенно по нраву пришлась лиллипутская ода — три слога на строку. Таких од появилось несметное количество: Англия охотно признавала себя Лиллипутией. Это было забавно; кроме того, некоторая насмешливость рекомендовалась модой.

В июле 1727 г. один из видных литераторов Франции, аббат Пьер-Франсуа Гюйо Дефонтен, сообщил Свифту, что он имел честь перевести «его произведение» на французский язык и теперь имеет удовольствие переслать ему второе издание книги.

«Во многих местах, мсье,— с почтительным лукавством объяснял аббат декану,— Вы обнаружите отступления от оригинала, но то, что нравится в Англии, здесь не всем так же приятно: отчасти по причине различий в нравах, отчасти же потому, что намеки и аллегории, понятные в одной стране, непонятны в другой; наконец, отчасти ввиду несходства вкусов двух наших наций. Я хотел дать французам книгу, пригодную для них; это желание и сделало мой перевод свободным и далеким от оригинала. Я также взял на себя смелость кое-что прибавить, ибо от соприкосновения с Вашим мое воображение разыгралось. Одному Вам, мсье, я обязан честью этого перевода, который раскупается здесь с быстротой поразительной и поэтому выходит уже третьим изданием... Умоляю Вас, мсье, обратить Ваше благосклонное внимание на то, что в предисловии я стремился воздать Вам должное».

В предисловии к первому изданию переводчик честно выложил все, что он думал о своем авторе; но в промежутке между первым и вторым успел кое-что разузнать о репутации и характере доктора Свифта и переменил все ругательства на комплименты.

Наслышанный о возможном приезде Свифта во Францию, аббат не желал сдержать восторга по этому **{32}** случаю и просил своего адресата принять заверения в его дружбе и считать его, Дефонтена, своим покорнейшим слугой. Писано все это было по-французски, и через месяц аббат имел удовольствие читать на том же языке ответ декана собора св. Патрика в Дублине.

«Я прочел Ваше предисловие (к первому изданию. — *В. М.),*— писал Свифт, — и позвольте выразить Вам свое крайнее удивление тем, что... Вы приписали мне книгу, на которой стоит имя ее автора, которая имела несчастье не понравиться некоторым нашим министрам и которую я никогда и нигде не признавал своею.

Это... не мешает мне, однако, воздать Вам должное. Переводчики большею частью превозносят избранные ими сочинения, воображая, вероятно, что их репутация каким-то образом зависит от репутации переводимого автора. Но Вы, чувствуя свои силы, оказались выше подобных предосторожностей. Выправить плохую книгу труднее, нежели написать хорошую, и тем не менее Вы не побоялись представить публике перевод произведения, которое, как Вы заверяете, полно непристойностей, глупостей, мальчишеских выходок и т. д.

Согласимся, что вкусы наций различны, но условимся также, что хороший вкус значит одно и то же всюду, где есть люди умные, рассудительные и знающие. Поэтому если книга мсье Гулливера пригодна только для Британских островов, то этого путешественника следует считать весьма жалким писакой. Те же пороки и те же безумства царят повсюду — по крайней мере, повсюду в цивилизованных странах Европы — и автор, который имеет в виду один город, одну провинцию, одно царство или даже один век, вообще не заслуживает перевода, равно как и прочтения.

Сторонники этого Гулливера, которым у нас здесь несть числа, утверждают, что его книга проживет **{33}** столько же, сколько наш язык, ибо ценность ее не зависит от преходящих обычаев мышления и речи, а состоит в ряде наблюдений над извечным несовершенством, безрассудством и пороками рода человеческого.

Вам, разумеется, ясно, что люди, о которых я говорю, весьма не одобряют Вашей критики; и Вы будете, несомненно, удивлены, узнав, что они считают этого судового врача автором суровым, не отступающим от серьезности, не склонным к прикрасам и нисколько не претендующим на изобретательность; автором, который довольствуется сообщением публике простой и наивной повести о выпавших ему на долю злоключениях и о том, что он слышал или видел во время своих странствий».

В заключение декан Свифт сожалеет, что ему не доведется побывать во Франции до конца жизни. «Я знаю, как я много теряю, и эта утрата очень огорчает меня. Мне остается единственное утешение: мечтать, что я как-нибудь научусь переносить страну, на пребывание в которой обречен судьбою».

Тем же 1727 г. датировано еще одно письмо: «Письмо капитана Гулливера своему родственнику Ричарду Симпсону», впервые опубликованное в издании «Путешествий» 1735 г. Это напутствие книге, хотя и сходное по содержанию с корректно-издевательской нотацией переводчику, неотделимо от текста «Путешествий», и речь о нем пойдет ниже. Скажем только, что здесь честный капитан старательно отмежевывается от всех добавлений и искажений текста, а также от

«пасквилей, ключей, размышлений, замечаний и вторых частей»; дивится, что у него находят «намеки» на власть имущих («каким образом то, что я говорил столько лет тому назад на расстоянии пяти тысяч миль отсюда, в другом государстве, можно отнести к какому-либо из йэху, управляющих теперь, как говорят, нашим стадом»), и **{34}** обращает внимание своего кузена «на крайнюю небрежность печатника, допустившего большую путаницу в хронологии и ошибки в датах моих путешествий и возвращений». Своей пунктуальностью капитан странным образом напоминал доктора Свифта.

Третьим напутствием можно считать письмо Бенджамину Мотту в декабре того же 1727 г. по поводу переиздания книги. Декан выступает сторонним советчиком. В такой позе он прощается с Гулливером и передает его в полное ведение публики. Тут вернее всего будет провести черту, разделяющую 14-летнюю историю написания и выхода в свет «Путешествий Гулливера» и 250-летнюю историю их издания на всех языках и во всех странах цивилизованного мира.

Свифт писал издателю: «Что до гравюр к «Путешествиям Гулливера», то судите сами, насколько это повысит стоимость книги: публика уже утолила первый читательский голод, и распродажа пойдет медленнее, но я думаю, что заглохнет еще нескоро... Приключения с маленькими человечками иллюстрировать легче, чем с большими. У меня нет при себе книги, и я буду говорить по памяти.

Гулливера на телеге везут в столицу; он тушит пожар. Леди разъезжают в каретах по его столу. Он встает с телеги, прикованный к своему жилищу. Он тащит флот. Кавалерия на его платке. Армия на марше между его ног. Его шляпу тянут восемь лошадей. Какие-нибудь из этих изображений подойдут лучше всего...

Трудно придумать что-нибудь с великанами: Гулливер среди них такая крохотная фигурка, к тому же он один на все королевство. В Лондоне я купил несколько гравюр: на одной изображено, как его вынимают из чашки сливок, но рука, которая его держит, закрывает все тело. Он будет лучше смотреться засунутый по пояс **{35}** в пустую кость, или в объятьях обезьяны на крыше, или на краю крыши, а лакей на лестнице поспешает на выручку, или в сражении с крысами на постели фермерши... едва ли не лучше всего было бы изобразить, как его ящик падает в море, и три орла дерутся над ним в небесах. Или как обезьяна вытягивает его из ящика...

Летучий остров должен на рисунке зрительно соответствовать указанным в книге размерам... Гулливера втягивают наверх, и тут же несколько парней с пузырями на палках. Как быть с прожектерами, не знаю. Не имею также понятия, как иллюстрировать остров призраков и тамошние происшествия; я это все плохо помню. Страна лошадей, по-моему, богата возможностями. Гулливера сравнивают с йэху. Лошадиная семья за столом и он в ожидании. Собрание Большого лошадиного совета, все сидят, а одна стоит, простерши копыто, как бы ораторствуя. Самка йэху обнимает Гулливера в ручье, а он с омерзением отворачивается. Йэху лезут на дерево, чтобы обделать стоящего внизу Гулливера. Йэху, запряженные в телеги, и лошадь погоняет их, держа кнут копытом. Мне больше не приходит в голову, но мистер Гэй Вам посоветует...»

«Путешествия Гулливера» главенствовали в сознании читающей публики около двадцати лет: как писала Свифту (правда, из Парижа) супруга Болинброка, «...этот добрый путешественник так принят среди

нас, что, кажется, хватит приплести к делу его имя, и любая чепуха может рассчитывать на милость публики...»

Круг читателей беспрерывно расширялся. Дорогое, да еще гравированное издание было не всем по карману, но уже в ноябре 1726 г. выходившая три раза в неделю газета «Пенни Лондон пост» объявила: «На некоторое время мы прерываем печатание Жизни Дон-Кихота ради Путешествий Капитана Лемюэля Гулливера в **{36}** некоторые отдаленные части света, каковые были недавно опубликованы и служили столь постоянным предметом почти всех городских и сельских бесед, не только из-за репутации их предполагаемого автора, но и по причине громадного разнообразия всяческих острот и шуток, из коих некоторые снабжены примечаниями; и чтобы те, кому не удалось прочесть их из-за цены издания, теперь имели бы возможность получить такое восхитительное развлечение, мы начинаем печатать их нижеследующим образом в этой газете с продолжениями до самого конца». Начинание подхватили, и во всех трех королевствах Великобритании вряд ли остался хоть один грамотный человек, который так или иначе не ознакомился с удивительными открытиями обыкновенного английского капитана.

К сожалению, нам в дальнейшем придется иметь дело не с простыми читателями, а с критиками, стоящими на страже их интересов. Во всяком случае, постараемся представить себе и иметь в виду эту громадную и безмолвную читательскую периферию.

Свифт упоминает о странствиях и открытиях «своего друга и кузена» лишь мимоходом, все реже и реже. Ему пришлось еще окинуть текст «Путешествий» прощальным взглядом, когда дублинский печатник Фолкнер подготавливал в 1735 г. первое и последнее прижизненное собрание его сочинений.

Фолкнер так описывает условия, на которых декан Свифт разрешил ему издавать сочинения: «Чтобы не было надувательства и покупатель получил бы за свои деньги полноценное издание; чтобы издатель являлся к нему (декану) каждое утро спозаранку и, в промежутках между делами, читал бы ему текст для проверки, как он воздействует на слух и понятен ли смысл; делалось это во всегдашнем присутствии двух слуг — с тем, чтобы в случае сомнения спрашивать у них, что это **{37}** значит, и если они не понимали, он изменял и улучшал, покамест тем не становилось все вполне ясно, и прибавлял:

«Вот так; ведь я пишу больше для простолюдинов, чем для ученого народа». Не будучи удовлетворен такими приготовлениями к печатанию, он выправил гранки каждого листа первых семи томов, опубликованных при его жизни...»

Сам Свифт писал об этом с обычной сдержанностью и осторожностью: «Вы, может быть, услышите, что Фолкнер напечатал четыре тома, именуемые моими сочинениями... Я в них не заглядывал и, по-видимому, не буду».

Возможно, Фолкнер и преувеличивал степень участия Свифта в этом издании: декан вообще мало интересовался судьбой своих творений, а к концу жизни и того менее. Но все же текст фолкнеровского издания — наиболее аутентичный: в нем вычищены многие (но не все) опечатки и стилистические искажения прежних изданий; в него вставлены если не все, то хотя бы некоторые из тех резких и слишком прямо адресованных издевательств, которые Мотт не осмелился напечатать или смягчил.

Так в последний раз проверялась оснастка сочинения, уносившего капитана Гулливера в будущее, навстречу восторгам, прихотям, кривотолкам и предрассудкам потомков.

{38}

Часть вторая

ОТДАЛЕННЫЕ СТРАНЫ СВЕТА

*

У меня теперь есть случай с философским спокойствием поразмыслить о тех залежах гнусности и низости, которые, по моему давнему убеждению, кроются в каждом человеческом сердце.

Арбетнот — Свифту, 1714 г.

Я никогда не мог дать людям спокойно сходить с ума, а вечно оповещал и предупреждал их об этом.

Свифт — Арбетноту, 1714 г.

Глава первая,

в которой капитан Гулливер выигрывает от сравнения с другими путешественниками

Сравним отправленную в грядущие века книгу Свифта с кораблем, и нам сразу станет ясно, что корабль этот — по меньшей мере четырехпалубный. Но всякое сравнение хромает, и не нужно заводить его слишком далеко. С оглядкой на эти резоны пройдем еще по пути сравнения.

{39} Путешествие Гулливера сквозь века — плавание особого рода, вроде странствий Летучего Голландца. Как в том, так и в другом случае о маршрутах и состоянии корабля приходится судить не по судовым книгам капитанов, а по свидетельствам туземцев и встречных мореплавателей. Свидетельства противоречивы: и если в случае с Летучим Голландцем их приходится принять скопом за невозможностью проверки, то «Путешествия Гулливера», скорее всего, стоят у нас на книжной полке.

Мы, стало быть, располагаем типографской моделью того судна словесности, на котором достиг наших времен капитан Гулливер, и притом моделью в натуральную величину. Мы можем сами обследовать все палубы и трюмы этого на редкость долговечного судна и познакомиться с его капитаном. И с этого лучше всего начать, ибо впереди нас ожидают недостоверные, безоговорочные, сбивчивые, пылкие и, как уже говорилось, крайне разноречивые читательские свидетельства. Чтобы разобраться в них, чтобы почувствовать себя собеседником в разноголосом споре читателей этой книги, чтобы соглашаться или возражать, надо заранее сосредоточиться на предмете беседы.

Книга, которую мы достали с полки, — занимательная, насущная, поучительная и смешная, «Путешествия» могут понадобиться читателю как повесть о приключениях, как свод сбывшихся и сбывающихся предсказаний, как книга суровых и насмешливых наставлений; наконец, просто как комическое чтение. Все это действительные свойства книги, и иным читателям хватало одного-двух, иные вникали в книгу строчка за строчкой, иные по-разному открывали ее для себя в разное время жизни.

Как можно судить по переписке вокруг «Путешествий», мало кто из современников книги увидел в ней мизантропический «учебник, жизни». Хотя декан и **{40}** воздвиг «строение своих путешествий» на своеобразном «мизантропическом основании» (как о том говорилось в знаменитом письме к Попу, цитированном выше), но простодушный читательский интерес к чудесным приключениям в невиданных странах он вполне поощрял. Пилюлю надлежало проглотить, чтобы сказалось ее действие, а оно уж как-нибудь да скажется.

«Путешествия Гулливера» раскупали и читали взапой точно так же, как за несколько лет до них «Робинзона Крузо» — как записки мореплавателя. На первый взгляд, это были одного поля ягоды. Искатели новых сведений и любопытных происшествий получали свое с лихвой. Недаром капитан Гулливер был, как о том сказано в его предисловии, кузеном и советчиком знаменитого путешественника и пирата Уильяма Демпиера: тот еще в 1697 г. опубликовал свое «Новое путешествие вокруг света», где читателям давался «правдивый и достоверный отчет о различных странах с подробным описанием их почвы, рек, гаваней, растительности, плодов, животных, туземцев, обычаев, верований, правительства, торговли и т. д.».

Люди заслушивались и зачитывались рассказами о путешествиях г незапамятных времен: с одного из таких рассказов, с «Одиссеи» Гомера начинается вся европейская литература. Греческий географ I в. до н. э. Страбон объездил тогдашний мир и описал свои путешествия в семнадцати книгах под общим названием «География». Он не преминул заметить о себе, своих предшественниках и последователях: «Я прекрасно знаю, что каждый, кто описывает свои путешествия, — лгун». Незачем ставить это в укор путешественникам: они «прекрасно знали» и то, что от них ждут преувеличений, прикрас и небылиц. До XVII—XVIII вв. европейская литература путешествий и была разновидностью небылиц. Это **{41}** по-разному понимали и учитывали такие авторы, как Данте, Рабле, Сервантес, когда отправляли своих героев путешествовать.

Однако уже к XVII в. от путешественников начали требовать осознания своих просветительных задач. Мир раздавался вширь, и география была уже не пищей любознательности, а описью имущества. Путешественники занимались нравоописанием далеких и незнакомых стран — очень хорошо, только нравоописание надо было к тому же сделать нравоучением. Надлежало искоренить в европейских умах культурный европоцентризм и заменить его европоцентризмом утилитарным, колониальным, экономическим. Хотя Робинзон и проливал на Пятницу свет христианской цивилизации, но делал он это не как миссионер и не как завоеватель, а как хозяин: надо думать, что ему по доброте душевной просто хотелось видеть своего туземного слугу умытым, одетым, причесанным и благонравным.

В этих-то целях он и обратил дикаря в христианство.

Благочестивый Робинзон в некотором роде свалился на свой остров с неба; обычно же новые земли нечаянно открывали пираты, а

осваивали «по божественному праву» «гнусные шайки мясников». Так во всяком случае описывает эту процедуру капитан Гулливер. Он выступает здесь как нетипичный путешественник, как пасквилянт и очернитель; да это, собственно, и не его голос, а издевательская интонация его преподобия декана Свифта, известного своей необъективностью и мизантропией.

Реальная сторона открытий, их, так сказать, отдельные недостатки никого особенно не интересовали. Если бы знаменитая гулливеровская филиппика по поводу образования колоний была помещена не в конце, а в начале книги путешествий, такую книгу, пожалуй, и читать бы не стали.

{42} Не к тому призывали путешественников различные деятели Просвещения. Путешественнику отводилась почетная роль провозвестника нового, либерально-буржуазного мироустройства, сеятеля волнующих сведений и мечтаний, расширителя кругозора.

Роберт Бойль, известный английский физик XVII в., был еще и автором «Благочестивых размышлений» (1665). Там в числе прочего говорилось о просветительной надобности в «короткой увлекательной повести, где действие происходило бы на каком-нибудь острове в южном океане и обычаи на котором столь же разумны, как в Утопии или Новой Атлантиде; и пусть бы один из тамошних жителей, отличающийся наблюдательностью, вернулся из путешествий по Европе и описывал наши страны и нравы; и часто изъяснял бы в своих рассказах причины своего удивления нашим столь нелепым обычаям, непохожим на таковые его страны... И будь многие наши установления представлены таким образом, мы бы сами невольно осудили их или, может быть, посмеялись бы над ними и уж по крайности перестали бы удивляться, что иные нации считают их нелепыми, как и мы полагаем нелепыми нравы голландцев и испанцев, представленные в книгах путешественников».

Свифт знал книгу Бойля и издевался над ее умильным стилем, написавши, еще в начале 1700-х гг., под стать Бойлю, «Размышления о палке от метлы». Вышеприведенный же пассаж имеет прямое отношение к «Путешествиям Гулливера»: там мы находим и благоустроенный посредством разума «остров в южном океане», и доскональное, «короткое и занимательное» описание европейских нравов со здешней точки зрения, и поучительный эффект этого описания. Надо думать, что если бы самому Бойлю довелось увидеть, как сбылись его невинные пожелания, его хватил бы удар.

{43} Но о том, как Свифт выполнил социальный заказ поборников просвещения, речь пойдет ниже. Пока отметим лишь, что такой заказ существовал и Свифт в полной мере его учитывал.

«Благочестивое размышление» Бойля строго выражает суть этого заказа: настраивать умы на относительность нравов, обычаев, верований. Все относительно, кроме, впрочем, (пока что) разума и производных от него естественных наук, например географии и астрономии. В этом и был смысл модного тогда научно-популярного рассуждения о многоразличии мира или даже миров. Установка была простая: что всюду различно, то относительно; что всюду одинаково, то абсолютно.

Французский астроном-любитель Пьер Борель еще в 1647 г. написал «Новейшее рассуждение, доказывающее, что звезды суть обитаемые земли, а земля есть звезда».

Другой француз, светский краснобай и острослов Бернар де Фонтенель, сочинил «Беседы о множественности миров» (1686), где рассказчик, гуляя вечерами по саду с любознательной маркизой,

изъясняет ей круговращение небесных тел и необычайную заселенность планет иными человеческими цивилизациями. «Беседы» были типичными умствованиями дилетанта, но зато отличались изяществом, простотой и, следовательно, убедительностью для широкой публики. Автор «Бесед» был старый знакомец декана: еще в 1690-х гг. никому тогда не известный Свифт вступил в дискуссию «о древней и новой учености» и наголову разгромил «новую», которую за несколько лет перед тем блестяще защищал во Франции мсье Фонтенель.

Иллюстрациями такого рода «рассуждений» и «бесед» служили отчеты путешественников XVII—XVIII вв. Одна из самых серьезных работ о тогдашней литературе путешествий совершенно резонно называется «Истоки и **{44}** первые проявления философического духа» (Ж. Лансон). Понятно, что в качестве философических иллюстраций путешествиям надлежало быть, во-первых, наглядными и обстоятельными; во-вторых, более или менее необычайными, т. е. описывающими чуждые нравы и обычаи, но не просто курьезные, а по-своему разумные.

Как мы видели, Бойль предлагал описать выдуманное путешествие с тем, чтобы правильнее относиться к действительным; надо сказать, что те и другие не особенно отличались друг от друга. И плавания Робинзона, и написанные раньше путешествия в Африку и Виргинию были равно произведены в воображении Дефо. При этом «воображаемая» робинзонада более правдоподобна и достоверна, чем описания действительных стран. Какой-то литературный поденщик составил «Путешествия святых Патриархов, Пророков, Судей, Царей, Нашего Спасителя Христа и Его Апостолов, как о них рассказано в Ветхом и Новом заветах: с описанием городов и местностей, по которым они путешествовали и за сколько английских миль находились они от Иерусалима». Но этот «труд», безусловно, содержит больше реальных сведений, чем опубликованное в 1704 г. «Историческое и географическое описание Формозы»: автор этого последнего, врывшийся под псевдонимом Дж. Псалманзар, о Формозе никакого понятия не имел и распорядился ее историей и географией по своему усмотрению.

И наоборот: описания действительных путешествий (или, точнее, действительно совершенных путешествий в действительно существующие страны) изобиловали небывальщиной, несмотря на все свое внешнее сходство со справочниками-путеводителями. Изобретались растения, животные, нравы, обычаи, «благородные дикари», аргументы против европейской цивилизации и утопические идиллии.

{45} В конце XVIII в. во Франции была опубликована (в 36-ти томах) серия «воображаемых путешествии», подразделявшихся на «романические», «чудесные», «аллегорические», а также «забавные, комические и критические». Классификация, конечно, никуда не годится, но она отражает вкусовые ощущения тогдашних читателей. Подобным же образом при желания можно пробовать на вкус и «действительные путешествия». Декан Свифт так и делал.

Размышляя над предстоящими скитаниями своего героя (то ли уже Лемюэля Гулливера, то ли еще Мартинуса Скриблеруса), Свифт, по его словам, «прочел пропасть чуши», т. е. отчетов более или менее действительных путешественников.

Таковыми были оба упомянутых в книге кузена Гулливера: об Уильяме Демпиере говорилось выше; но и поверенный капитана в издательских делах Ричард Симпсон был, видимо, переиначенным

Уильямом Симеоном, автором «Нового путешествия в Ост-Индию» (1715). В этом сочинении, например, сообщалось, что миру известны три вида письма: «как европейцы — слева направо... как арабы — справа налево... как китайцы — сверху вниз». Капитан Гулливер без малейшей улыбки пополняет перечень доселе неведомыми миру «каскагианцами» (почему-то, видимо, от недоумения — пропускаемыми в последних русских переводах), которые якобы пишут снизу вверх; и знакомит читателя с обычаем лиллипутов писать не так и не сяк, а «наискось от одною угла страницы к другому, как английские леди».

Наивно-горделивую обстоятельность «кузена Демпиера» капитан Гулливер усвоил настолько, что путешественник-пират мог бы поучиться своему стилю у доктора-декана. Вообще капитан Гулливер временами проявляет почти пугающую осведомленность в морском деле: так, в **{46}** одном только пассаже «Путешествия в Бробдингнег» убирают блинд, убавляют фок-зейль и бизань, берут от фок-зейля рифы, натягивают шкот, причем румпель лежит на полном ветре; закрепляют нирал, спускают реи, натягивают тали у ручки румпеля, не спускают брам-стеньги («известно, что брамстеньги помогают управлению кораблем и увеличивают его ход»), ставят затем грот и фок, ложатся в дрейф, укрепляют, наконец, швартовы к штирборту, ослабляют брасы у рей за ветром и крепко притягивают булиня.

Пугаться, однако, не надо. Декан Свифт попросту переписал этот пассаж с кой-какой стилистической правкой из «Журнала мореходца» (1669) некоего Сэмюэля Стерми. За то, что «некоторые наши йэху-моряки находят ошибки в моем морском языке», Гулливер отвечать не желает: «...когда я был молод, я прошел выучку очень старых моряков (например, Сэмюэля Стерми. — *В. М.*) и усвоил их язык. Но впоследствии я убедился, что морские йэху так же склонны выдумывать новые слова, как и сухопутные йэху, которые меняют язык чуть ли не ежегодно...»

Словом, скомбинировав словарь, описательные навыки, интонации, подробности биографии, психологический настрой, уровень понимания и способы рассуждения действительных путешественников, декан Свифт создал более цельный и законченный, чем где-либо, образец европейского путешественника конца XVII — начала XVIII в. Вдобавок к типическим качествам он отличается еще скромностью и безукоризненной правдивостью. Он «отлично знает, что сочинения, не требующие ни таланта, ни знаний и никаких вообще дарований, кроме хорошей памяти или аккуратного дневника, не могут особенно прославить их автора». По за одно он ручается: «так как моим знакомым угодно было признать **{47}** скромные мои усилия небесполезными для моей родины, то я поставил своим правилом, которому неуклонно следую, строжайше придерживаться истины...»

На титульном листе одного из первых изданий «Путешествий» был, по обычаю того времени, означен латинский девиз — «Splendide mendax» (великолепный лжец); но притязания Гулливера на предельную истинность имеют свою цену. Если бы капитан Гулливер существовал, то его пришлось бы признать самым правдивым из всех путешественников: ни за одной строкой его описаний нет позы враля, выдумщика, мечтателя. А между тем все эти позы легко обнаруживаются в любом из современных ему отчетов о действительных путешествиях. Гулливера невозможно упрекнуть в искажениях, прикрасах, недомолвках. В конце концов ему суждено даже стать жертвой собственной честности, прямоты и простодушия — добровольно признать себя и себе подобных

презренными скотами.

Что же до открытых им стран, то они предстают в его описании куда менее «воображаемыми», чем «Виргиния» Дефо или «Ост-Индия» Симеона. Привычных читателей путешествий не зря тянуло после знакомства с Гулливером к географической карте. Они подпадали под обаяние гулливеровской правдивости и торопились обозначить на указанных в «Путешествиях» широтах и долготах новооткрытые земли.

Между тем эти земли были не такие уж новооткрытые. Их перечисляет французский писатель XVII в. д'Абланкур в продолжении к «Правдивой истории» грека Лукиана (написанной примерно в 170 г. н. э.). Лукиан, передразнивая путешественников, плел самые отчаянные небылицы о посещении Луны и других труднодоступных областей; д'Абланкур, подстать ему, отправил героя на «Остров животных, с которым **{48}** соседствовали острова великанов, волшебников и пигмеев». Гулливер просто-напросто выяснил точное местоположение этих стран и дал их основательные описания. Это было весьма кстати, ибо как раз во времена Свифта люди науки бились над вопросом о существовании, например, пигмеев. Гулливер подоспел вовремя.

В начале XVIII в. некто Э. Тайсон, англичанин с именем в ученых кругах, написал «Опыт касательно пигмеев у древних»; он заключил: пигмеи суть «чистая выдумка, плод распаленного и прихотливого воображения; они никогда и нигде не существовали». В 1724 г., за два года до обнародования решающих гулливеровских открытий, Тайсона строго опровергал в ответном трактате почтенный французский академик. По моде времени, ученые дебаты о достоверности существования пигмеев переплетались с утопическими наставлениями: так, еще в 1675 г, некто Джошуа Барнс из Эммануэль-колледжа в Кэмбридже составил несомненно читанное Свифтом сочинение «Герания, новое открытие народа малюток, известного издревле и пигмеями называемого, с живым описанием их вида, обычаев, нравов, строений, учености и правления, весьма приятное и полезное».

Таким образом, люди науки использовали древние небылицы как предлог для утопических нравоучений. Ученые становились решающим авторитетом в вопросе о существовании того или сего и могли позволить себе игры даже с такими сомнительными фактами, как «народ малюток». При этом они на всякий случай не особенно удалялись от описания пигмейской нации, данного еще у Геродота: про пигмеев с тех самых пор было известно, что они живут где-то в Нубии, одеваются в лепестки и скорлупки и воюют с журавлями. К этому можно было наставительно присовокупить, например, что пигмеи живут недолго и потому умеют ценить время или что **{49}** они все счастливы, потому что не ведают денег и не стремятся к богатству. Читатель благосклонно принимал знакомую побасенку и почтительно — новую мораль по ее поводу.

При знакомстве с записками капитана Гулливера читатель вдруг обнаруживал, что почтения от него не требуется. Ему просто сообщалось, что такой-то английский мореплаватель родом из Ноттингемшира к собственному удивлению обнаружил на одном острове не мифических пигмеев, не курьезных малюток в шапках из ореховых скорлупок, а империю маленьких человечков «ростом не более шести дюймов». Точное название империи, доселе неведомое, — Лиллипутия; недаром оно осталось в языке в отличие от Гераний и Севарамбий. Капитан Гулливер явно не помышляет ни об утопиях, ни об аллегориях, а также ни о чем «чудесном» или «романическом». Перед читателем неспешно

развертывается не лишенное забавности, но прежде всего пунктуальное, изобилующее фактами повествование. Пунктуальность и фактичность от века импонировали читателям и сами по себе (читательскую любовь к цифрам и фактам шумно вышучивал Рабле); а тут эти качества еще помогали превратить в быль старую и любимую сказку.

«Путешествия Гулливера» (особенно первые две их части) до сих пор сохраняют и, должно быть, сохранят до конца существования всякой литературы эту прелесть сбывшейся на новый лад старой сказки. Со сказкой, в отличие от философского или утопического трактата, у записок Гулливера тем более родства, что эта прежде всего повесть о злоключениях героя, а не занимательные поучения подставного лица; равно и не страноведческое описание, хотя все научные достоинства последнего здесь налицо.

Гулливер даже находит нужным извиниться: он не **{50}** будет слишком останавливаться на подробностях, потому что приберегает их «для почти готового уже к печати более обширного труда». «В настоящее время моя главная цель заключается в изложении событий, которые произошли В этом государстве во время моего почти девятимесячного пребывания в нем».

Попробуем же, зарядившись читательским простодушием, следовать за правдивой повестью капитана Гулливера.

Глава вторая,

в которой жизнь подтверждает правдивость мемуаров Человека-Горы

Автобиография Лемюэля Гулливера немногим пространнее анкетной: зато она так же деловита и так же удостоверяет существование ее обладателя. Она насыщена цифрами и фактами донельзя; в этом смысле не существует ничего подобного в беллетристике всех времен и народов. На третьей странице книги читатель вместе с Гулливером попадает в шторм на судне «Антилопа», собственности капитана Уильяма Причарда, находившемся, «согласно наблюдениям», на тридцати градусах двух минутах южной широты. Корабль разбился в тумане о скалу; спастись на шлюпке удалось только шестерым из экипажа. Шлюпку опрокинуло, и Лемюэль Гулливер «поплыл куда глаза глядят, подгоняемый ветром и приливом». Это «куда глаза глядят», да еще «на волю волн» (по-английски аналогично) — единственные украшения стиля судового журнала.

Из стиля ничуть не выбиваются и два сообщения: что «дно в этом месте было так покато, что мне пришлось пройти около мили, прежде чем я добрел до берега» и **{51}** что «трава... здесь была очень низкая и мягкая». Так начинается сказка — с упоминания о флоре и рельефе дна чудесной страны. Лиллипутский микрокосм смыкается вокруг Гулливера во время его сна: это классическое введение в сказку здесь строго мотивировано. Он заснул «от усталости, жары, а также от выпитой еще на корабле полупинты бренди».

Далее, как заметил еще Вальтер Скотт, Свифт одолжился у древнегреческого автора Филострата, из мифологического жизнеописания Геркулеса: «Найдя спящего Геркулеса, они (пигмеи. — *В.*

М.) собрали против него все свои силы. Одна фаланга напала на его левую руку; против правой, более сильной, они направили две фаланги. Лучники и пращники, изумленные огромными размерами его бедер, осадили ноги Геркулеса. Вокруг же его головы, словно вокруг арсенала, они водрузили батареи, и сам царь занял около них свое место. Они подожгли его волосы, стали бросать серпы в его глаза, а чтобы он не мог дышать, заткнули ему рот и ноздри. Но вся эта возня могла только разбудить его. И когда он проснулся, то, презрительно смеясь над их глупостью, сгреб их всех в львиную шкуру и понес к Эврисфею».

Филострат любуется мифологическим, заведомым неправдоподобием сцены. Фаланги, лучники, пращники, батареи, серпы и т. д. — точно так же, как аналогичные скопления «действительных» подробностей у Рабле — лишь усиливают неправдоподобие, приглашают читателя посмеяться «роскошным вракам». Ни Лукиан в своей «Правдивой истории», ни Филострат, ни Рабле нимало не претендуют на «отображение действительности», на описательную правдивость, на создание иллюзии жизненной ситуации. Напротив того, фантастические прообразы путешествий и открытий Гулливера проникнуты **{52}** насмешкой над примитивно бытовым представлением о правдоподобии.

Однако ко времени Свифта это представление овладело умами не только средней читательской массы, но и новейших просветителей. «Презренно всякое художество, если оно бесполезно и если оно не служит изображению истины», — писал французский переводчик Свифта аббат Дефонтен. Он имел в виду, что «всякое художество» должно сопровождаться легко доступной читателю моралью (разумеется, благочестивой и по-новому гуманной), а также обязано являть нечто бесспорное и общеочевидное в живых картинах воображения.

Знакомый с таким рассуждением, Свифт прекрасно понимал, что для публики опознавательные приметы истинности суть цифры и факты. Их посредством он и превратил филостратовскую сцену в гулливеровскую, мифологические россказни — в реалистическое описание. Немного вникнув в это описание, читатель мог бы понять, что его дурачат: такая безличная, ледяная, сверхъестественная аккуратность была бы немыслима в рассказе о действительном происшествии.

Собственно говоря, Свифт делал то же, что Рабле, когда тот описывал рождение Гаргантюа: «...устья маточных артерий у роженицы расширились, и ребенок проскочил прямо в полую вену, а затем, взобравшись по диафрагме на высоту плеч, где вышеуказанная вена раздваивается, повернул налево и вылез в левое ухо». Читатели медонского кюре смеялись вместе с автором над небылицей под видом медицинского факта или летописного сообщения; никто не мешал точно так же посмеяться и читателям декана собора св. Патрика.

Эти, однако же, предпочитали не смеяться, а впитывать факты и цифры как реалистические обоснования любой небылицы и восторгаться точностью Гулливера **{53}** (иначе говоря, изобретательностью декана Свифта). Смеялись, разумеется, тоже: едва ли не ребяческим счастливым смехом при виде затейливой игрушки, в которой все «совсем как настоящее». Как уже говорилось, Свифт не осуждал этих наивных восторгов; но его собственный раблезианский смех, упомянутый в одной из поэм Попа, звучал по-иному, и надо сказать, что декан, по обыкновению, смеялся более над читателями, нежели с ними.

Читательская наивность, повторим, входила в расчеты Свифта: ему и нужно было сделать для читателя лилипутов — человечков

«ростом не более шести дюймов» — как нельзя более реальными. Материализация их посредством внешне научной, а по сути раблезианской «точности» цифр и фактов была самой безобидной из насмешек, уготованных читателю.

Если же пробраться сквозь двойной частокол «научной» добросовестности повествования и простодушия рассказчика, то свифтовский смех, может быть, не покажется ни слишком жестоким, ни чересчур мизантропическим. Он ведь не казался таким ни Попу, ни Арбетноту, ни Гэю. Но легионы «бесстрашных умников» (выражение Свифта из «Сказки бочки») XVIII и последующих веков не имели нужды вчитываться в текст. Они, во-первых, знали, что им должна литература, а во-вторых, чего им недодал данный автор. Бывали оценщики милостивые, чаще негодующие. К первым относится известное замечание Свифта, что «сатира — это род зеркала, в котором обычно замечают все лица, кроме своего». Вторые свое лицо замечали и были, стало быть, внимательнее к прочитанному. Но ни те ни другие вместе со Свифтом не смеялись: для этого требуется слишком много смирения и здравого смысла.

Впрочем, пока речь не об умниках, а о тех наивных **{54}** читателях, которых всегда было вдосталь и которые всегда были вознаграждены за чтение сверх всяких ожидании. Им предлагались факты и только факты: почти каждая фраза гулливеровской повести есть сообщение, в новейшей терминологии — «информация».

Филострат пересказывал миф о смехотворном покушении пигмеев на Геркулеса как веселый выдумщик; у Свифта на месте Геркулеса — английский судовой врач Лемюэль Гулливер. Он сам честно, без героики и преувеличений, описывает, как был пленен пигмеями. Любой читатель может подставить себя на его место; любой поймет, что вел бы себя на его месте точно также. Это самоотождествление читателя с Гулливером, как мы увидим дальше, весьма на руку Свифту. Отметим тут же, что близость Гулливера к среднему читателю, обыкновенному человеку, сохраняется во всех его самых невероятных и фантастических приключениях. Тем самым приключенческий жанр, обычно требующий героя особого рода — будь то отчаянный плут, благородный рыцарь, прекрасный любовник и т. д., — здесь как бы придвинут к читателю. Тот имеет возможность соучаствовать в похождениях Гулливера, не воображая себя при этом ловкачом, красавцем или храбрецом. В этом смысле «Путешествия Гулливера» — приключенческое чтение для взрослых (детям, напротив, как раз и нужно себя кем-нибудь воображать); приспособление его для детей идет путем героизации Гулливера и не оставляет камня на камне от свифтовского текста.

Итак, Гулливер, в отличие от Геркулеса, не сгребает надоедливых пигмеев в львиную шкуру и не уносит к Эврисфею. Он бы, кстати, и не мог этого сделать, не только за отсутствием шкуры и Эврисфея, но и потому, что он имеет дело с несколькими миллионами разумных, хоть и шестидюймовых существ. Он совершенно **{55}** напрасно (правда в припадке ярости) думает, что справится с какими угодно их армиями. Даже несколько сот лиллипутов всего тремя залпами дали ему почувствовать, кто здесь хозяева: «...чувствуя жгучую боль на лице и руках, покрывавшихся волдырями, причем много стрел еще торчало в них, и заметив, что число моих неприятелей все время возрастает, я знаками дал понять, что они могут делать со мной все, что им угодно».

Гулливер — не Геркулес, а лиллипуты — не пигмеи из

богатырской сказки или героического мифа. И хотя многие положения его повести кажутся прямыми заимствованиями из сказок и мифов, но пределы возможного всюду установлены вполне реалистически. Поэтому, при всей необычайности обстоятельств, отчет о судьбе Гулливера в Лиллипутии куда более похож на мемуары о придворной службе, чем на авантюрно-героическую небылицу.

Описание лиллипутского двора и здешних политических событий, пестрящее намеками на английскую историю последних 50-60 лет, представляет собой совсем не сатирическую аллегорию, а сатирическую параллель, т. е. имеет повествовательное значение, помимо всякой расшифровки, а не служит «оболочкой смысла».

Гулливеровское описание сказочной страны пигмеев складывается из самых обыденных для читателя подробностей. Лиллипуты живут, как люди, т. е. как европейцы, т. е. более или менее как англичане. Императрица Лиллипутии, скажем, протягивает Человеку-Горе ручку для поцелуя, а император обнажает шпагу — «на случай, если бы я разорвал цепь». Священников и юристов ничего не стоит узнать по костюму; «особа высокого чина» предъявляет Гулливеру «верительные грамоты с королевской печатью»; горожане обитают в трех- и пятиэтажных домах, передвигаются в каретах и **{56}** портшезах и т. д. В Лиллипутии разводят коров, овец, гусей и индеек, делают вино и содержат его в бочках, пекут хлеб караваями, едят к завтраку яйца всмятку, словом, почти все, вплоть до математики, книгопечатания, кораблестроения, займов, банковых билетов и религиозных распрей, — на уровне европейской цивилизации. Разве что порох здесь еще не изобретен, на счастье Гулливера.

Среди экзотически разубранных, назидательно не похожих на Европу реальных и вымышленных стран, о которых мечтательно повествовали действительные и мнимые путешественники, Лиллипутия выглядит обыкновенным кукольным слепком с Англии. Это, повторим, вовсе не значит, что Лиллипутия не более чем уничижительная аллегория, помост для бичующей сатиры.

Такого рода помостов было воздвигнуто в достатке и до и после «Путешествий Гулливера». Дефо, например, еще в 1705 г. «перевел с лунного языка» книгу «Консолидатор» — «воспоминания коренного англичанина». Лунные аллегории Дефо, соединяющие забавное с полезным, иногда именуют свифтовскими «источниками»: действительно, сходство в деталях несомненное. Этого сходства даже больше, чем с другим общепризнанным «источником» — с «Гаргантюа и Пантагрюэлем». Однако если, не теряя из виду деталей, обратить взор на целое, то станет ясно прежде всего, что в том, другом и третьем случае перед нами совершенно разные типы (а равно и задачи) повествования; затем — что между Рабле и Свифтом куда больше родства, чем между Свифтом и Дефо; наконец — чем именно гулливеровское описание Лиллипутии отличается и от аллегорических вымыслов «Консолидатора» Дефо, и от насмешливых небылиц «Хроники» Рабле.

Рабле нимало не претендует на правдоподобие в **{57}** описании островов на пути к оракулу «Божественной Бутылки»; он попросту, в лучших карнавальных традициях, потешается над чем попало на разные лады. Дефо предлагает читателю удобный, «лунный» набор нравоучительных иносказаний и намеков.

Свифт вообще не настаивает на своем существовании в качестве автора. Он предоставляет в распоряжение читателей капитана Гулливера, а тот, по всей видимости, хочет сказать именно то, что он говорит (как

разъяснял Свифт в письме своему французскому переводчику, «довольствуется сообщением публике простой и наивной повести о выпавших ему на долю приключениях и о том, что он слышал или видел во время своих странствий»). Можно говорить о «мире Гаргантюа» или о «мире Гулливера»; лунный «мир Консолидатора» рассыпается на иносказательные намеки от первого прикосновения.

Один из критиков XVIII в. полувосторженно, полупрезрительно заметил, что у Свифта не сыщешь ни одной метафоры. В «Путешествиях Гулливера», действительно, нет ни образности языка, ни риторики, ни подсказок читателю (кое-что из этого появляется к концу IV части, но об этом речь будет ниже). Свифт скрыт за Гулливером; Гулливер поглощен своей незатейливой повестью. Ответ на вопрос, что хотел сказать Свифт, нужно искать поэтому в том, что говорит Гулливер — отнюдь не рупор свифтовских идей, а обыкновенный, средний европеец начала XVIII в.

Лиллипутия иносказательна не более, а гораздо менее, чем необитаемый остров в «Робинзоне Крузо». Продолжив сравнение, можно заметить, что повесть Робинзона по характеру напоминает житие («целое собрание чудес», как заверяет Дефо); капитан Гулливер, напротив, пишет мемуары. Вот содержание их первой части по заголовкам глав: «*Автор сообщает кое-какие* ***{58}*** *сведения о себе и своем семействе. Первые побуждения к путешествиям. Он терпит кораблекрушение, спасается вплавь и благополучно достигает берега страны лиллипутов. Его берут в плен и увозят внутрь страны. Император Лиллипутии в сопровождении многочисленных вельмож приходит навестить автора в его заключении. Описание наружности и одежды императора. Автору назначают учителей для обучения языку лиллипутов. Своим кротким поведением он добивается благосклонности императора. Обыскивают карманы автора и отбирают у него саблю и пистолеты*...» и т. д. в том же роде. В тесных рамках мемуарной схемы жестким мемуарным слогом удостоверяется фактическое существование империи пигмеев, известной читателю по самым древним небылицам.

Изощренный читатель, пренебрегая гулливеровской повестью, распознает намеки с полуслова и требует «ключа» к «Путешествиям», где было бы, наконец, разъяснено, что Гулливер — это Болинброк, лиллипутский император — Георг I, казначей Флимнап — премьер Роберт Уолпол, тупоконечники — католики и т. д. Таких ключей сгоряча было опубликовано несколько; ныне все они прочно забыты. Если бы соль мемуаров о Лиллипутии была в этих и тому подобных намеках, то записки капитана Гулливера давно бы растворились во мгле веков, заодно с описаниями многих действительных и воображаемых путешествий.

Читатели новейшего склада, желая наскоро вышелушить «суть свифтовского сатирического осмысления и изображения», быстро разбивали текст на отдельные обличения и составляли к ним свои подписи, вроде того, что жизнь при императорском дворе пронизана несправедливостью. Она, конечно, пронизана, но для того ли написаны «Путешествия Гулливера», чтобы делать из **{59}** них столь пресную вытяжку? Обратимся лучше к вышеупомянутому простодушному читателю, для которого «Путешествия Гулливера» издавались и издаются в приключенческих сериях.

Как уже говорилось, этот скромный книгочей не остается в накладе: «Путешествие в Лиллипутию» для него — повесть про обыкновенных, хоть и чудесных пигмеев и про чудесного, хоть и

обыкновенного европейца. Книга Свифта переведена на десятки языков и читается уже почти три века, и крайне сомнительно, чтобы в нашем веке кто-нибудь, кроме завзятого специалиста, задался вопросом, не есть ли Лиллипутия иносказательное обличение Англии начала XVIII в. и не разумеется ли под соседней империей Блефуску Франция (или, по другому толкованию, Ирландия) того же времени. Однако же сходство с бытом и нравами, даже современными, его страны он явно уловит, и если даже не сделает из этого сходства радикально обличительных выводов, то во всяком случае прочтет повесть о шестидюймовых малютках, копирующих шестифутовых людей, со снисходительным любопытством.

Царство лиллипутов — не только сказочное, но еще и кукольное; Гулливер по большей части и описывает свои игры и забавы в ожившем кукольном мире, разумеется, описывает в самых серьезных выражениях. Заметим лишний раз, что он в очень малой степени наблюдатель и в очень большой — участник этих игр, связанный их правилами. Он имеет свое кукольное имя — Куинбус Флестрин («Человек-Гора»), свои игровые обязанности (например, «раз в луну относить в своем кармане гонца вместе с лошадью на расстояние шести дней пути»), свой игровой титул «нардака», «самый высокий в государстве».

Наивный читатель есть читатель-соучастник, и **{60}** читатели разного возраста по мере своей наивности соучаствуют в играх Гулливера с лиллипутами. Для ребенка суть этой игры — преображение кукольного в настоящее; для взрослого — преображение настоящего в кукольное. (Примерно так же различаются детские и взрослые спектакли.)

Первое время книгу Свифта читали в основном взрослые; но уже к началу XIX в. она была усечена, почищена и отослана в детскую. Многие вплоть до наших дней либо судят о ней по воспоминаниям детства, либо обыскивают ее на предмет сатирических иносказаний. Между тем «Путешествия Гулливера» не чтиво для малолетних и не набор сатирических обличений — «ни то, ни другое, и все вместе взятое», как говорил один из героев Рабле.

Впрочем, у взрослых читателей были основания отделаться от книги, даже от ее первой, сравнительно безобидной части. Для ребенка тут нет подвохов: детей вполне устраивает, что кукольные образы и подобия окружающего мира начинают жить своей особой жизнью и говорить своим особым языком. Другое дело — взрослые.

Автор «Путешествий Гулливера» явно надругался над строгим и полезным просветительным жанром, сделав его средством сообщения заведомых небылиц, мораль которых непонятна. Стало быть, автор попросту выдумывает: хотя россказни капитана Гулливера, по видимости, правдивее самой правды, но все же эти россказни не имеют ничего общего с действительностью. (Видимость правды до сих пор вменяется автору в заслугу — Свифта не шутя хвалят за умелую имитацию презираемых им образцов жанра.)

В конце концов приходится рассудить так, что декан Свифт над чем-то смеется, но не указывает пальцем, над **{61}** чем именно, а тем временем обнаруживается, что читатель вместе с капитаном Гулливером играет в куклы и сам себя передразнивает. В этой игре все становится смехотворным, но Гулливер принимает ее совершенно всерьез, без малейшей насмешки повествуя о лиллипутских «вельможах», «мудрой расчетливости» и исполинском четырехвершковом росте «великого государя» Лиллипутии, «роскошнейших покоях» императорского дворца и «громадных военных кораблях» длиною почти в три метра.

Забегая вперед, скажем, что английский хирург сильно отличается по складу ума от короля великанов: тот, глядя на Гулливера, «заметил, как ничтожно человеческое величие, если такие крохотные насекомые... могут его перенимать... Держу пари, сказал он, что у этих созданий существуют титулы и ордена; они мастерят гнездышки и норки и называют их домами и городами; они щеголяют нарядами и выездами; они любят, сражаются, ведут диспуты, плутуют, изменяют».

Гулливеру мысль о ничтожности человеческого и даже лиллипутского величия в голову не приходит; но даже сверхнаивный читатель если не понимает, то чувствует, что Гулливер — придворный мемуарист, Гулливер — «нардак», Гулливер — Куинбус Флестрин все время имеет несколько дурацкий вид. Вот он на вершине славы и во всем блеске своего здешнего могущества волочит неприятельский флот с криком «Да здравствует могущественнейший император Лиллипутии!» Аналогичный вопль через много лет издавал бравый солдат Швейк и на этом основании был признан идиотом. Разница та, что у Швейка идиотизм показной, а у Гулливера — неподдельный.

Словом, выходит так, что существование лиллипутов — издевка над общественной жизнью человечества, в том **{62}** числе и читателя; а поведение и слог Гулливера — издевка над средним европейцем, т. е. опять же над читателем. Серьезность и обстоятельность повести усугубляют издевку; читатель вместе с капитаном Гулливером высек сам себя и не заметил этого.

Возможен, однако, другой, более выгодный для читателя угол зрения: речь ведь идет не только о том, каковы лиллипуты в описании Гулливера, но и о том, каков Гулливер в глазах лиллипутов.

«Путешествие в Лиллипутию» есть поначалу более или менее умилительное зрелище быта и нравов крохотных человечков; затем постепенно выясняется, что они во всем подобны нам и п о э т о м у омерзительны (хороши они, напротив, своими древними законами и обычаями, полностью противоположными европейским). Самодовольные и злокозненные малютки копируют нас и тем самым достойны нашего презрения и неприязни: мы, стало быть, снова в дураках. Но из положения есть выход: все-таки они — не мы; наш представитель — Лемюэль Гулливер, вызывающий восторг и изумление обеих пигмейских империй.

В его волосах дети играют в прятки; к бокам его приставляют лестницы; обшивают его триста портных, стряпают ему триста поваров; он враз выпивает несколько бочек вина и съедает «во славу своей дорогой родины» десятка полтора говяжьих и бараньих туш вместе с костями; он может запросто потушить горящий дворец; на его натянутом платке маневрирует эскадрон кавалерии; между его ног проходят армии; он «легко тащит за собой пятьдесят самых крупных военных неприятельских кораблей».

Гулливер разглядывает себя глазами лиллипутов и сам себе кажется чудом. Протокол его обыска — это целая опись чудес, т. е. обычных предметов, представших **{63}** пяти чувствам шестидюймовых существ. Дело тут, правда, не только в двенадцатикратном увеличении, а еще и в том, что обычные предметы и в самом деле чудесны, если описывать их вчуже. Часы, например, выглядят так:

«...предмет оказался похожим на шар, одна половина которого сделана из серебра, а другая из какого-то прозрачного металла; когда мы, заметя на одной стороне шара какие-то странные знаки, расположенные

по окружности, попробовали прикоснуться к ним, то пальцы наши уперлись в это прозрачное вещество... Мы полагаем, что это либо неизвестное нам животное, либо почитаемое им божество... потому что, по его уверениям... он редко что-нибудь делает, не советуясь с ним».

Здесь, как мы видим, забавно вовсе не увеличение само по себе — забавно обстоятельное и недоуменное описание знакомой вещи.

Таким же загадочным образом можно описать и человеческое тело, тем более, что чудесного, любопытного и странного в нем ничуть не меньше, чем в карманных часах. Гулливер и не преминет это сделать с леденящей добросовестностью; но это будет в записках о далеком четвертом путешествия, а пока что чудесна в Гулливере только его здешняя грандиозность. Вместе с Гулливером и читателю дана возможность чувствовать себя честным и прямодушным великаном и отплыть «на огромном корабле», т. е. прибитой к берегу лодке, к себе в Европу, прихватив в карманах дюжину домашнего скота (жаль, что не удалось «увезти с собой десяток туземцев»!).

За такой успокаивающий конец автору многое можно простить и забыть. И читатель молодцом закрывает первую часть «Путешествий». Между тем подвох уготован и здесь: капитан Гулливер видит себя глазами лиллипутов и испытывает при этом совершенно лиллипутское самодовольство, в чем ему (а равно и читателю) предстоит убедиться, отправившись через два месяца в новое **{64}** плавание. Страница-другая морских происшествий — и на незнакомом берегу появляется «человек исполинского роста».

Глава третья,

в которой
записки лиллипута Грильдрига на поверку
не обнаруживают ничего фантастического

Подобно пигмеям, великаны были не только принадлежностью волшебных сказок и рыцарских романов, но и достоянием науки. Так, например, доклад 1718 г., представленный во Французскую Королевскую Академию, назывался «Хронологическая шкала различия людей в росте от сотворения мира до Иисуса Христа». Докладчик с фактами в руках доказывал, что Адам был ростом в 123 фута 9 дюймов (примерно 37 м), Ева же — в 118 футов 9 и 4 дюйма (На полтора метра ниже). Уцелевший от потопа Ной достигал уже лишь 103 футов (около 31,5 м), а праотец Авраам — едва 28 (9,54 м). Самый видный из обмельчавших греков Геркулес имел в высоту никак не более 10 футов (3,5 м), а Александр Македонский — от силы 6 (всего-навсего 183 см).

Очередные открытия капитана Гулливера вторили научным изысканиям, более того — подтверждали их. В одной из книг, прочитанных Гулливером у исполинов, «ясным, мужественным и гладким слогом» доказывается, что «в последние упадочные столетия природа вырождается и может производить по нынешним временам только жалких недоносков... Резонно полагать, что поначалу не только люди были куда крупнее, но что в прежние века существовали великаны; об этом свидетельствуют история и предания, а также огромные кости и черепа, случайно откопанные в разных частях королевства...»

{65} «Жалкие недоноски», населяющие королевский Бробдингнег,

высотою всего лишь 72 фута (чуть выше 22 м), по французской хронологической шкале значительно ниже Ноя. Бробдингнежцы, стало быть, суть выродившиеся образцы хоть и древней, но послепотопной человеческой породы, и существование их тем самым увязано и с наукой, и с Ветхим Заветом.

Они вероятны и дозволены: стоит их открыть и толком описать, и они станут достоверны; вот их и открыл отважный английский хирург-мореплаватель, разведчик науки, немногословный Лемюэль Гулливер. На то, как известно, и наука, чтоб сказки становились явью: великаны обнаружились между Японией и Калифорнией, на полуострове, «служащем противовесом громадному материку Татарии». Географам «необходимо исправить свои карты и планы, присоединив обширное пространство земли к северо-западным частям Америки».

Бробдингнег имеет шесть тысяч миль в длину и от трех до пяти тысяч в ширину; «страна эта плотно заселена, ибо заключает в себе пятьдесят один большой город, около ста крепостей... и большое число деревень». Гулливер произвел эти и тому подобные измерения не как-нибудь, а «на карте... разложенной на земле, где она занимала пространство в сто футов».

Впрочем, истории и географии здесь куда меньше, чем в рассказе о Лиллипутии; оно и понятно ввиду ограниченности кругозора путешественника двадцатифутовой травой, сорокафутовым ячменем, тридцатифутовыми столами, двадцатиярдовыми кроватями и другими обиходными явлениями, не говоря уже о самих бробдингнежцах и разнообразной живности — собаках, например, «величиною в четыре слона». Мемуарная достоверность первой части здесь становится конкретной до осязательности. «Информация», которой по-прежнему насыщена каждая **{66}** фраза, имеет здесь оттенок более всего биологический, строже говоря, экологический: перед нами особый случай взаимоотношений нашего брата, признанного здесь «игрой природы», со средой.

Искушенный читатель мог распознать в этой части гулливеровских записок некоторые сюжетные вехи знаменитого воображаемого путешествия Сирано де Бержерака «Комическая история Луны». Герой Сирано попадает к обезьяноподобным гигантам; его держат в клетке, показывают за деньги, едва при этом не убивают; он забавляет двор и становится любимцем короля с королевой, к нему излишне благосклонны фрейлины, наконец, летающий Эфиоп транспортирует его обратно на Землю. Сходство небольшое, но почти вызывающее: памятные читателю фантастические небылицы нашли свое место в «правдивой повести» Гулливера и не нарушают ее натуралистического правдоподобия.

Стиль и материал Гулливера, таким образом, достойны Королевской Академии; тем не менее описание путешествия в Бробдингнег с полным правом можно назвать приключенческим чтением, — кстати, с гораздо большим правом, чем мемуары о Лиллипутии. Там Гулливер был чем-то между придворным мемуаристом и неудачливым, но самодовольным холопом лиллипутского императора; два его тамошних подвига — увод блефускуанского флота и «придуманный автором способ тушения пожара — ни в какое сравнение не идут с его здешними испытаниями. Здесь он на каждом шагу являет примеры мужества, находчивости и юмора; другое дело, что положение его самое невыгодное, и победы над крысами, лягушками, коноплянками, осами и

мухами вызывают лишь смех непонятливых великанов.

Характерное заявление, будто Гулливер в Лиллипутии «велик, прекрасен, он герой, больше того — он живой **{67}** человек!», а в Бробдингнеге — «жалкая фигурка, герой комических положений» (Левидов М. Путешествия в некоторые отдаленные страны мысли и чувства Джонатана Свифта, сначала исследователя, а затем воина в нескольких сражениях. М,, 1964, с. 347—348.), свидетельствует о небрежном либо предвзятом чтении «Путешествий». Мы же предполагаем читателя хотя и простодушного, но внимательного, а таковой не может не заметить, что как ни смешно драться с двумя бробдингнежскими крысами («величиной с большую дворнягу») или двадцатью осами («величиною с куропатку»), но храбрости для этого требуется не в пример больше, чем для тушения мочой игрушечного пожара.

Высокомерное отношение к отважному путешественнику, принужденному жить в кукольном домике и едва не гибнуть от града («каждая градина в 1800 раз больше, чем у нас в Европе»), очевидно, происходит от ощущения себя бробдингнежцем. Ощущение это неоправданное: так же, как читателю брезгливо и строго внушалось, что лиллипуты — это мы, так теперь внушается, что бробдингнежцы — ни в коем случае не мы. Место читателя рядом с Гулливером: в беседе короля гигантов и среднего европейца резонно соглашаться с первым, но оставаться поневоле приходится со вторым — во всем подобным нам представителем «породы мерзких гаденышей — самых пакостных из всей ползучей дряни». Ибо именно так отзывается о человечестве на пороге его новой истории бробдингнежский король.

Это «презрение к Европе и всему остальному миру» объясняется вовсе не сравнительным умалением человеческого роста, а качествами людей, от роста независимыми: «жадностью, партийностью, лицемерием, вероломством, жестокостью, бешенством, безумием, ненавистью, **{68}** завистью, сластолюбием, злобой и честолюбием». Можно не соглашаться с приговором великана, но нельзя не понять, что выражения «мерзкие гаденыши» и «ползучая дрянь» обращены именно к нам через голову Гулливера. Именно за спиной Гулливера, а не на плече короля Бробдингнега, отведено место читателю.

Поэтому вернее будет не презирать Гулливера за то, что его тискает обезьянка величиной со слона или за то, что, «гуляя раз в одиночестве и вспоминая бедную Англию», он «споткнулся о раковину улитки и сломал себе голень правой ноги», а сопереживать его приключения. Если при этом напрашивается мысль, что героизм бывает непрезентабельным, а подвиги — смехотворными, то почем знать, не к этому ли выводу и склоняет нас декан Свифт? Не с лиллипутским ли чванством вспоминает здесь Гулливер, как он был «велик и прекрасен» в Лиллипутии:

«я был способен тащить одной рукой весь императорский флот и совершить много других подвигов, которые будут увековечены в летописях этой империи...»? Напротив, сами бробдингнежцы (как выясняет Гулливер из их «маленького старинного трактата») более склонны рассуждать о том, «каким слабым, презренным и беспомощным животным является по природе человек» (Читая о приключениях Гулливера в Бробдингнеге среди обычных предметов, растений и животных, стоит вспомнить некоторые детские (и не совсем детские) книги недавнего времени, где герои почему-либо сильно уменьшаются в размерах и мужественно борются за существование с гигантскими насекомыми и т. д. Авторы явно считают своих героев молодцами, а не «жалкими фигурками». И надо сказать, что такие приключенческие авторы более

почтенны, чем те, у кого героям нет преград на море и на суше.).

Гулливер смешон только тогда, когда он пытается гордиться, хорохориться или «кипеть от негодования».

Именно когда он слишком «распространился о **{69}** любезном отечестве», «король не выдержал, взял меня в правую руку и, лаская левой, с громким хохотом спросил, кто же я: виг или тори?» Именно когда он «ревниво заботится о том, чтобы не возникло никаких сомнений насчет его храбрости», над ним безудержно смеются. Именно когда он «испытывает свою ловкость», он застревает посреди навозной кучи. И напротив, когда ему претит «позор быть выставленным напоказ», он весьма здраво соображает, что «даже сам король Великобритании, оказавшись на моем месте, принужден был бы подвергнуться такому же унижению», т. е. что человеческое величие, а равно и самое достоинство очень зависит от оттеняющих обстоятельств.

Итак, необыкновенные приключения обыкновенного путешественника в двенадцатикратно увеличенном мире, где все тоже довольно обыкновенно, кроме администрации, юрисдикции и состояния знаний. То, другое и третье попросту сведены в Бробдингнеге до минимума (речь о них идет на полутора страницах), чтобы не мешали обычной жизни.

Ни в деревенском быту, ни в городе Гулливер не обнаруживает ни малейшей экзотики (разве что день субботний здесь в среду). В королевском дворце все и того обычнее: «...увидев, что все предметы, на которые обращались мои взоры, были пропорциональны величине обитателей, я мало-помалу утратил страх... и мне стало казаться, будто я нахожусь в обществе разряженных... английских лордов и леди с их важной поступью, поклонами и пустой болтовней».

Читателю, стало быть, время от времени напоминают, что бробдингнежцы — те же люди; но читатель будет прав, если и тут заподозрит неладное. Бробдингнежцы — люди прежде всего в смысле телесном: это значит, что читатель получает возможность рассмотреть глазами **{70}** Гулливера человеческое тело в двенадцатикратном увеличении, как бы сквозь мощную лупу. Именно сквозь такую лупу рассматривают путешественника здешние «большие ученые» в надежде выяснить, что он за существо и чем отличается от недоноска или от сплекнока («местного очень изящного зверька шести футов длины»). Гулливер проводит аналогичные наблюдения в более выгодных условиях; он не сомневается, что перед ним люди, и не нуждается в научной аппаратуре, то бишь лупе.

Он так и думает, что способствует выяснению истины, обнаруживает истинный облик вещей за их видимостью. «Истинный облик» оказывается тошнотворным: «на самом деле» материнская грудь «испещрена пятнами, прыщами и веснушками», человеческое тело издает «весьма противное зловоние», самая нежная н белая кожа «груба и неровна, разноцветна и покрыта родимыми пятнами величиной с тарелку, а волоски, которыми она усеяна, имеют вид толстых бечевок; об остальном лучше умолчать».

Чтобы читателю не пришло в голову, пользуясь своим малым ростом, как-нибудь отмежеваться от неприглядного зрелища бробдингнежских телес, Гулливер кстати припоминает, что лиллипуты в свое время ужасались его уродливости и вони. Речь, таким образом, идет не о бробдингнежцах собственно, а о физическом облике человека, представленном с научной наглядностью.

Гулливер делает свои научные наблюдения без всякой злонамеренности, как бы даже извиняючись. И простодушному читателю остается либо простодушно корить в злонамеренности скрытого за Гулливером автора, либо — что будет куда честнее — заметить себе: «вот ведь как оно выходит, ежели посравнить да посмотреть».

Грандиозность отнюдь не равнозначна величию: в этом и убеждается Гулливер всеми своими пятью **{71}** чувствами. Задним числом пересматриваются его былые подвиги в качестве Куинбуса Флестрина. В Лиллипутии он самодовольно замечал: «слуги бывали очень изумлены, видя, что я ем говядину с костями, как у нас едят жаворонков», и гордо пожирал десятками крупный рогатый скот «во славу дорогой родины». В Бробдингнеге он «не может без отвращенья смотреть», как королева «грызет и съедает с костями крылышко жаворонка, хотя оно в десять раз больше крыла нашей индейки». Здешний монарх размышляет, «как ничтожно человеческое величие, если даже такие крохотные насекомые... могут его перенимать». Гулливер как-то резонно заметил ему, что «умственные способности не возрастают с размерами тела», а насчет самих размеров мог бы прибавить: «как неприглядно, грубо и уродливо человеческое величие, рассмотренное крупным планом».

В меньшей степени это касается вещей неодушевленных: здесь как бы продолжен лиллипутский перечень обыденных предметов. Правда, здесь описание предметов неизменно увязано с их назначением. Гулливер разглядывает исполинские натюрморты: и они, точно так же, как фламандская живопись, свидетельствуют об интересе, богатстве и прелести заурядного быта.

Интерес того же рода вызывают многочисленные и подробные описания здешнего благоустройства Гулливера на кукольный манер: его кроваток, домиков, белья. посуды, мебели и т. д. Эти подробности, а также рассказы о поделках самого Гулливера из подручных материалов (этим же занимался и Робинзон) издавна увлекали малолетних читателей.

Два года комнатных приключений Гулливера в Бробдингнеге обрываются, как признает сам путешественник, «не совсем обычным образом». Когда его переносной домик поднимается в клюве орла высоко в воздух, впору **{72}** вспомнить уже не Сирано, а Синдбада-морехода в когтях птицы Рух. Но протокольный стиль записок превозмогает любую невероятность, и, начиная с фразы «первый толчок едва не выбросил меня из гамака», древняя сказка в новом облачении просится в анналы мореплавания. Более того, Гулливер даже несколько брезгует этими анналами. Добросовестно изложив капитану незамедлительно подоспевшего на выручку корабля (разумеется, английского) свои бробдингнежские приключения и продемонстрировав свою коллекцию раритетов, он заключает: «моя история (повествует) только о самых обыкновенных событиях, и читатель не найдет в ней красочных описаний диковинных растений, деревьев, птиц и животных или же варварских обычаев и идолопоклонства дикарей, которыми так изобилуют многие путешествия».

Это сущая правда. Не будем пока, все того же простодушия ради, рассуждать о том, «что хотел сказать Свифт своими лиллипутами и великанами». Тут могут быть разные мнения и соображения, одно другого сомнительней. Например, что Лиллипутия — мир безумия и

нелепости, а Бробдингнег — мир разума и человечности.

Лиллпутия не безумна и не нелепа: просто ее государственная жизнь похожа на европейскую. О разуме и человечности Бробдингнега можно говорить лишь местами, главным образом в применении к особе бробдингнежского короля. Вернее будет сказать, что в записках Гулливеоа представлены отражения европейской жизни в разных ее ракурсах и что читатели могут здесь распознать себя в различных видах и с поразительной отчетливостью.

{73}



{74} «Сатира есть род зеркала» (Слова Свифта из предисловия к первому его памфлету «Битва книг».), т. е. отражение особого рода. Отвлеченно любоваться сатирой можно только, если сатира не удалась или за давностью лет потеряла свой смысл. Зеркало может потускнеть от времени, стать забавой или. украшением, но принять его за картину можно только но недоразумению. Оговоримся заодно, что бывают зеркала кривые, тупо и старательно, с претензией на обличительность, уродующие предмет. Смотреться в них, может быть, и смешно, но бессмысленно: они не помогают, а мешают увидеть и узнать себя.

Больше, чем любой другой вид словесного искусства, сатира обращена к действительности (хотя и в самом широком смысле этого слова), обращена к читателю. Фантазия сатирика создает зеркальную

перспективу, в которой всякая фальшь становится комической и презренной. Но из зеркала на читателей глядят их собственные лица, а не образы иных миров, не «красочные описания» и не «варварские обычаи».

Фантазия Свифта на редкость дисциплинирована, хоть и кажется непринужденной. И описания Лиллипутии или Бробдингнега — это прием зеркальной сатирической оптики, нечто среднее между пародией и мистификацией. В тот самый момент, когда мы погружены в перипетии отдаленного сказочного существования, мы читаем нечто о себе — и вряд ли безобидное. Мы в положении человека, который хохочет, презрительно фыркает или осуждающе качает головой, глядя на себя в зеркало и думая, что это картина. Это, кстати, относится ко многим критикам-толкователям «аллегорий» и «образов» Свифта.

Фантастика первых двух частей педантична и проста на удивление. Почти вся она может быть сведена к формуле 12:1:12. Предположим, что нормальный человеческий рост не обязательно равен шести футам. Предположим далее, что он может быть: а) в двенадцать раз меньше; б) в двенадцать раз больше. Неистовства **{74}** воображения для этих выкладок не требуется. Следствие из них: в обоих случаях шестифутовый (т. е. обычный) человек окажется лицом фантастическим. И в Лиллипутии, и в Бробдингнеге Гулливер — единственное фантастическое лицо. Стоит оценить парадоксальность ситуации, в которой обыкновенный человек кажется обыкновенным же людям чудовищем или диковинкой.

Вот и вся фантастика. Остальное, как справедливо полагал Гулливер, — «история... только о самых обыкновенных событиях», да и событий-то почти нет. Увод блефускуансдого флота — это игра в кораблики, тушение пожара во дворце — отправление естественных потребностей, бробдингнежские похождения — возня не то с младенцем, не то с куклой и т. д. Простой, бытовой смысл происходящего — это его основной, так сказать, проверочный смысл. Необычен лишь угол зрения, под которым человек, расставивший ноги, являет собой триумфальную арку, а годовалый ребенок покушается на безопасность путешественника. Перед нами даже не преображенная, а лишь парадоксально представленная обыденность, не особая жизнь, а наше существование, рассмотренное с точки зрения иной размерной нормы. Нечто подобное мы можем найти гораздо позднее в «Превращении» Кафки, где одно гротескное допущение позволяет по-новому присмотреться к домашней жизни обычной семьи.

Разница между Свифтом и фантастами старого и нового времени довольно существенна: в одном случае перед нами фантастические миры, кое в чем похожие на действительный; в другом (свифтовском) — действительность, кажущаяся фантастическим миром.

Ибо записки Гулливера, разумеется, фантастичны и это при почти полном отсутствии той фантазии, которая определена в словаре Даля как «пустая мечта, выдумка воображения, затейливость, причуда; несбыточный бред, **{76}** разгул необузданной думки». Лиллипутия и Бробдингнег — не иносказательные наименования Англии, но и не что-нибудь вроде «Иного Света или государств и империй Луны» Сирано де Бержерака или французской «Пантагрюэлии» Рабле.

Вряд ли кому из читателей Гулливера доводилось класть в карман корову или ночевать в кукольной колыбельке; тем не менее многим из них и корова, и колыбелька знакомы по собственному опыту, в отличие от древа познания добра и зла, обнаруженного Сирано на Луне, и от

вооруженных Колбас, едва не одолевших пантагрюэлеву братию. Положения, в которые попадает Гулливер, конечно, фантастичны, но всякий раз он имеет дело с обыкновенной жизнью и ведет себя обычней обычного.

Два масштаба обыденного сталкиваются, и возникают фантастические положения, в которых раскрывается комическая несуразность самой заурядной, «нормальной» жизни. Жизнь эта вовсе не обязательно безумна или презренна, подчас даже и умилительна, но во всяком случае комична и несообразна с гордостью или самомнением. Нелепость самых разнообразных сортов — ее обычное и неотъемлемое свойство. Свифт не обличает, а демонстрирует, не сетует на неразумность, а полуснисходительно, полупрезрительно смеется над ней.

Вся фантастическая видимость «некоторых отдаленных стран» — это ряд приемов, демонстрирующих комическую, иррациональную нелепицу привычной жизни и привычных представлений. Знакомые вещи названы иными именами, вырваны из привычного контекста, лишены привычной соразмерности. Свифт обещал еще в «Сказке бочки» описать «царство нелепостей»: вот они, эти царства, где пигмеи и гиганты заняты обычными человеческими делами, а обычный человек выглядит то гигантом, то пигмеем.

{77} Туда и приглашают проследовать читателей; но читатели с самого начала дробятся на две группы. Одни произносят что-нибудь вроде «ишь, какая реалистическая фантастика!» или «ага! вот и сюжетно-образные формирования!» и раскладывают обличительные аллегории по сатирическим полочкам, уясняя, что именно Свифт рисует в лице данного образа. Пусть не так профессионально; факт тот, что в «Путешествиях» они тут же усматривают неимоверную (хоть и «реалистическую») фантастику и считают ее художественной оболочкой, упаковкой для обличений. Это наивность, так сказать, распорядительная: она похожа на лиллипутский протокол обыска Гулливера, хотя куда более категорична. Нерукотворный памятник распорядительному чтению — перевод аббата Дефонтена, где из книги Свифта отобраны уместные обличения в «улучшенной» фантастической упаковке (так же и лиллипуты вернули путешественнику кое-какие из его вещей за ненадобностью).

Понапрасну Гулливер надеялся, что в его записках никогда «не найдут материала для упражнения своих талантов племена возражателей, обозревателей, наблюдателей, порицателей, изыскателей и примечателей».

Материал нашли. Правда, возражения, изыскания, порицания и т. д. адресуются через голову путешественника самому декану Свифту; но маска капитана Гулливера непроницаема, декан же собственной персоной в объяснения вступать отказывается. Гулливер и тот спокойно замечает в предисловии «любопытствующим йэху»:

«...мы не способны излагать друг другу мысли в выражениях, понятных для нас обоих»; а по повода «дерзости некоторых моих критиков, полагающих, что книга моя есть лишь плод моей фантазии», удивляется: «Уж не дерзают ли эти жалкие животные думать, будто я настолько пал, что выступлю на защиту своей **{78}** правдивости?» Ценителям и толкователям «фантастических аллегорий» заранее напоминают, что они не собеседники декана Свифта и не ровня капитану Гулливеру, а всего лишь персонажи, явленные среди прочих в «зеркале особого рода».

Другая группа — читатели, которые не стремятся быть

соучастниками свифтовского замысла, а соучаствуют в путешествиях и приключениях Гулливера так же, как в перипетиях реалистического романа или действительного путешествия. Они послушно следуют в Лиллипутию и Бробдингнег, не уличая автора в фантастике, равно как им не приходит в голову уличать в фантастике «Робинзона Крузо» или «Путешествие в Ост-Индию», тем более, что Гулливер правдивее, чем Робинзон, а Ост-Индия путешественников XVIII в. фантастичнее, чем Лиллипутия.

Ведь Англия Диккенса — тоже более или менее воображаемая, а местами и сказочная страна. Мера правдоподобия, благодаря которому читатель закрывает глаза на условности художественной литературы, в «Путешествиях Гулливера» не только соблюдена, но чуть ли не превышена. Да, это правдоподобие — лишь мистификация; а все плавания, кораблекрушения, широты, долготы и карты — пародийная бутафория, насмешка одновременно над просветительным жанром и над почтительным читателем. Ирония Свифта двойная: во-первых, заурядная европейская действительность представлена как повесть о «некоторых отдаленных странах света»; во-вторых, эту повесть предложено признать правдивой за то, что читателю мастерски втирают очки.

Но читатель, позволивший себя одурачить, вдруг оказывается в выигрыше: для него раскрылась фантастика обыденного, он новыми глазами увидел себя и окружающую жизнь. Положим, что это зрелище не особенно **{79}** лестное и приятное, но весьма любопытное и неожиданное. Пусть даже читатель думает, что ему показали туземных пигмеев и гигантов; важно не столько то, что он думает, сколько то, что он, как говорится, вжился в образ, проник в произведение, встал на одну доску с героем-рассказчиком. Ему открылось то же, что Гулливеру, и совершенно неважно, может ли он суммировать свои открытия в нескольких общих фразах. Он прошел курс лечения смехом, и смеялся он над собой, даже если сам того не заметил.

Впрочем, на случай, если читатель воспринял описания Лиллипутии и Бробдингнега чересчур вчуже, ему адресовано отрезвляющее заключение второго путешествия. Достоевский в «Бесах» пересказывает его так:

«В одном английском сатирическом романе прошлого века некто Гулливер, возвратись из страны лиллипутов, где люди были всего в какие-нибудь два вершка росту, до того приучился считать себя между ними великаном, что и ходя по улицам Лондона, невольно кричал прохожим и экипажам, чтобы они перед ним сворачивали и остерегались, чтоб он как-нибудь их не раздавил, воображая, что он все еще великан, а они маленькие. За это смеялись над ним и бранили его, а грубые кучера даже стегали великана кнутьями».

Достоевский не знал по-английски и, стало быть, читал «Путешествия Гулливера» в переводе на французский или на русский (с французского). Ошибка его поразительна: ясно, что после созерцания шестидюймовых человечков шестифутовые крошками не покажутся. Дело, видимо, было в том, что, говоря «сатирический роман прошлого века», Достоевский думал об аллегорическом чтении французского образца, например, вышеупомянутых «воображаемых путешествиях», забавных, комических и критических. Правдоподобия с них не **{80}** спрашивают: не для того писаны. Все как в басне: какой-то, допустим, Попугай, пожив среди Колибри, возомнил о себе: я-де великан. Оно и забавно, и поучительно.

На самом деле все наоборот: Гулливер приучился считать себя отнюдь не великаном, а пигмеем, и пигмеями же по бробдингнежской мерке выходят его соотечественники. Это надо было наглядно проиллюстрировать: иначе пигмейство Гулливера осталось бы, так сказать, временным и единичным фактом, как им, кстати, и осталась бытность его великаном. Гулливер правильно разглядел, что европейцы — те же лиллипуты; ему следовала бы только не забывать, что он — тот же европеец. А он забывает — и смешон, как лиллипут с манией величия.

Последнее выступление Гулливера в роли Человека-Горы ликвидирует задним числом самую эту роль: в удел читателю остается только пигмейство в разных видах. Всякая видимость «реалистической фантастики» рассеивается: «ничтожные размеры» уже не лиллипутских, а действительных «деревьев, людей, домов и домашнего скота» настолько явственны, что Гулливер на этом пигмейском фоне поневоле кажется себе великаном; он тут же смеется над собой и кое-как возвращается в привычную колею. Похоже закончится его четвертое путешествие, но по возвращении из Страны лошадей ни ему, ну читателям будет не до смеха.

Глава четвертая,

в которой
вслед за Гулливером можно убедиться,
что наука по-прежнему идет вперед

Свифт отправил было своего героя в Страну лошадей сразу после Бробдингнега, но потом, видно, пожалел оставить без толку заготовки скриблерианских времен: **{81}** летучий остров, царства ученых, философов и магов, благодетельные проекты, поправки к древней и новой истории и т. д. Вообще надо было скопом свести счеты с миром науки, тогдашними прогрессивными упованиями, преобразователями природы и общества, неукротимыми жизнелюбцами, властителями и судиями, следователями и осведомителями, героями, полководцами и историографами, титулованными особами, прекрасным полом, лакеями, скрипачами и голландцами. (Голландцам достается едва ли не больше других: им отказано не только в христианской религии, но и в элементарной порядочности.)

Всякому путешественнику надлежало расписаться в своей любознательности, небесполезной для науки. Поэтому из вояжей действительных и воображаемых доставлялись не только вороха страноведческих сведений, но и почерпнутые у туземцев мысли о составе вещества, законах физики, обитаемости планет и пр. Публика желала читать не о каких-нибудь чудесах, а о невиданных успехах прикладных наук в тридевятых царствах и тридесятых государствах.

В описаниях первых двух путешествий ничего такого не сообщалось, зато третье могло порадовать охочую до знаний публику. Путешественник обнаружил почти универсальный компендиум наук в королевстве Бальнибарби, над которым магнетически парит остров Лапута, населенный чистыми теоретиками. Теоретики-то и протягивают руку помощи обреченному на голодную смерть Гулливеру, а именно, втаскивают его к себе на Лапуту «при помощи блоков».

В отличие от ковра-самолета, дракона и других древних

летательных аппаратов тяжелее воздуха, данный летучий остров имеет под собой твердое научное основание. Основание это алмазное и «имеет форму правильного **{82}** круга диаметром в 7837 ярдов». Летает остров тоже не по щучьему веленью, а посредством пятиметровой магнитной стрелки: «...ибо по отношению к подвластной здешнему монарху части земной поверхности магнит обладает с одного конца притягательной силой, а с другого — отталкивательной». Стрелку примерно тех же размеров незадолго до гулливеровых странствий соорудил английский физик Уильям Гилберт; теперь выяснилось, что такая стрелка может быть успешно применяема в воздухоплавании. Ведь Гилберт и сам замечал, что «вся масса Земли — не что иное, как один большой магнит; магниты же меньшие суть как бы маленькие земли, привлекаемые к целому». Существование Лапуты подтверждает и развивает эту ценную научную идею.

Здесь процветают математика и астрономия: лапутяне, например, уже обнаружили два спутника Марса, которые американец Холл открыл лишь через сто пятьдесят лет после обнародования «Путешествий Гулливера», в 1877 г. О математических достижениях Гулливер, к сожалению, упоминает чересчур общо; зато страстное увлечение лапутян музыкой тоже приоткрывает завесу грядущего: путешественника угощают трехчасовым концертом в будущем додекафоническом духе, имитирующем «музыку сфер».

Так вот они — неважно, действительный или вымышленные — разведчики грядущего, ученые, занятые возвышенным и благородным трудом и далеко опередившие свое время также и в эстетическом отношении! Пожалуй, что и так; но это одна сторона дела. Другая сторона настолько очевидна, что все достижения лапутян вызывают у читателя в лучшем случае брезгливый смешок. Дело в том, что математики, астрономы и музыканты Лапуты — жалкие и слабоумные уродцы, которых ненавидят жены, презирают слуги и которых заезжий **{83}** путешественник третирует со смешанным чувством почтительного омерзения.

Они потому и идиоты, что одержимы наукой; так что гулливеровские отчеты об их штудиях, при всем своем бесстрастном наукообразии, выглядят указаниями на источник идиотизма: и тем убийственнее, чем бесстрастнее. Насмехаться над одержимыми учеными начали задолго до Свифта; но Свифт смеялся по-особому.

Лапутская ученость, конечно, оторвана от жизни; но тем не менее и даже тем более она торжествует над жизнью. Известно, что «промеж слепых кривой первый вождь»; в данном случае кривые лапутяне — вожди зрячих жителей наземного королевства Бальнибарби. Рассеянный король летучего острова, за решением задачек не разбирающий дня и ночи, «мог бы стать самым абсолютным монархом в мире, если бы ему удалось убедить своих министров действовать с ним заодно». До полновластия всего один шаг; видимо, королю просто по рассеянности не приходит в голову ликвидировать министров или подобрать более покладистых. Впрочем, власти ему и без того хватает: уже около полувека Лапута не только спокойно взимает подати, но и диктует наземным подданным их убеждения и образ жизни.

Лапутяне — не какие-нибудь полоумные затворники, а выразители по-своему целостного «научного» мировоззрения. Не удивительна поэтому их «наклонность говорить на политические темы, делиться новостями и постоянно с необыкновенной страстностью обсуждать

государственные дела».

Гулливер гадает, почему бы это: на оттого ли, что людей вечно тянет лезть не в свое дело? Оно так. Но важнее не отчего, а для чего. Как же лапутянам не лезть в политику или экономику, если они знают, что «самый маленький круг имеет столько же градусов, сколько самый большой», а значит, управлять миром не **{84}** труднее, чем вертеть глобус? Сами они, правда, больше теоретизируют; зато внизу, в Бальнибарби, занесенное с Лапуты прилипчивое и доходчивое «мировоззрение» уже стало двигателем прогресса и привело, во-первых, к разорению страны, а во-вторых — к «пересозданию науки, искусства, законов, языка и техники на новый лад».

На первый взгляд, перед нами причудливый мирок помешанных ученых; приглядевшись, мы различаем утопию, модель мира, где торжество (разумеется, пародийное) науки совершилось. Опять, значит, не столько фантазии, сколько проекция в будущее. Придурковатые выродки — не просто фантастические существа, а спроецированные из реальности персонажи либерально-буржуазных мечтаний о научном благоустройстве общества. Этого по наивности можно не заметить и попасть в обычную свифтовскую переделку: смеяться над вымышленными уродцами, не замечая, что речь идет о действительных и полномочных героях нового времени.

Конечно, «описание характера и нравов лапутян» читается как фантасмагория; конечно, и самое их уродство («головы были скошены направо или налево; один глаз смотрел внутрь, другой прямо вверх к зениту»), и одежда с изображениями небесных тел и музыкальных инструментов, и обалделая рассеянность — все это вымыслы иносказательного свойства. И бробдингнежцы, и лиллипуты — обыкновенные люди; лапутяне — химеры, такие же, как «люди с песьими головами» из россказней странницы Феклуши в «Грозе» Островского.

Однако россказни Свифта вдруг начинают походить на страшный сон: странные уродцы живут научным способом в чертогах будущего и разрешают действительные исторические задачи путем мерзостных извращений человеческой жизни «на новый лад». Комическое становится жутким, потому что лапутяне — не обитатели **{85}** воображаемых пространств, а призраки, явившиеся из будущего, мечтания, обретшие дикий, но правдоподобный облик. Не зря же теперь, в XX в., Лапута кажется западным критикам воплощением «технократической утопии», предсказанием все более и более актуальным. Мы, будучи оптимистами, настроены иначе; но нельзя не отдать должного Свифту, который предвосхитил в XVIII в. нынешние футурологические кошмары, от «Машины времени» Уэллса и «Прекрасного нового мира» Хаксли до выкладок какого-нибудь американского НИИ.

Гулливер спускается с Лапуты на преобразованную лапутскими методами землю и наблюдает, как «прохожие на улицах куда-то мчатся, имеют дикий вид, глаза их неподвижно устремлены в одну точку, и почти все они одеты в лохмотья». Простодушный путешественник «не мог не выразить своего удивления по поводу... странного вида города и деревни... Что означают эти озабоченные лица, эти занятые работой руки»? «Ибо я не замечал никаких благотворных результатов... напротив, я в жизни не видывал хуже возделанных полей, неряшливее и ненадежнее построенных домов, столь нищенски одетых и столь изморенных голодом людей».

Было объяснено, что хотя здесь и делается все возможное, дабы

«осчастливить человечество», но пока что (временно) «страна, в ожидании будущих благ, приведена в запустение, дома в развалинах, а людям не хватает пищи и одежды». По счастью, впрочем, «все это не только не охлаждает рвения прожектеров, но еще пуще подогревает его, и их одинаково воодушевляет как надежда, так и отчаяние».

При близком знакомстве с этими проектами обновления страны все естественнонаучные начинания оказываются смехотворными; однако же все они воодушевлены героическим стремлением вывернуть природу наизнанку.

{86} Солнце надо добывать из огурцов; дома строить начиная с крыши; разрыхленные свиньями поля надлежит засевать мякиной; живописцев самое время отдать на выучку слепорожденным; годовое и суточное вращение земли и солнца следует согласовать с порывами ветра.

Гулливер описывает благородный труд академиков (ибо преобразователи природы и общества засели в цитаделях науки) как бы и сочувственно, но не вполне уважительно. Наука, конечно, призвана творить чудеса и менять лицо земли, но смелость и размах здешних бредовых замыслов с непривычки отпугивают. Тем более, что на память поневоле приходит «Пятая и последняя книга героических деяний и речений доброго Пантагрюэля», где прислужники королевы Квинтэссенции упражнялись в том же роде: стригли ослов, доили козлов, смешивали мочу и кал, измеряли скачки блох, резали огонь ножом и т. д. Рабле явно имеется в виду; но Свифт превращает в раблезианский комический фейерверк перечень настоящих изобретений и замыслов, почерпнутых из анналов современных наук. «Вот уж небылицы так небылицы», — решает читатель, хотя тут-то его и потчуют сырьем действительных фактов.

Так же и с другими, более умозрительными проектами. Здешние лингвисты, например, прикинули, как трудно «превозмогать науки и искусства обычным методом»; между тем и науки, и искусства можно почти в два счета сделать всеобщим достоянием. Для этого нужно лишь записать все слова на бумажках, приклеить их к дощечкам, дощечки обрамить, оцепить проволочками и подсоединить к сорока железным рукояткам: пятьсот таких станков путем вращения рукояток дадут миру в кратчайшие сроки «полный компендиум наук и искусств», причем вращать рукоятки и тем самым двигать вперед сразу все области знаний сможет любой малограмотный олух.

{87} Вздор? Разумеется. Фантазия? Ничуть не бывало. Незадолго до гулливеровых странствий подобный станок спроектировал знаменитый немецкий философ и математик Лейбниц. Правда, Лейбниц разрабатывал не такое универсальное сооружение, а нечто вроде нынешнего компьютера; но ведь именно о компьютерах будут впоследствии задавать вопросы: «может ли машина мыслить», разумея при этом «мыслить за человека».

Ученые академики бальнибарбийской столицы Лагадо хоть и наивно, но упорно прозревают будущие горизонты буржуазного прогресса. Гулливер ведет как бы занимательный репортаж с переднего края науки (Разумеется, нет нужды доказывать, что Свифт не бичует науку как таковую и не обличает ученых, что речь идет лишь о примитивном и. скороспелом «научном» прогрессизме.).

Перед нами полная видимость научно-популярного обозрения с элементами прогноза (за вычетом нескольких фраз вроде «мне... стало

очень противно»). Все заготовлено впрок для научных фантастов: и для восторженно-мечтательной беллетристики жюльверновского толка, и для угрюмых межпланетных скитаний XX века. Что же до нелепости описанных изысканий, то Свифт с не меньшим правом и не меньшей иронией, чем Рабле, мог бы повторить слова королевы Квинтэссенции: «Смотрите, слушайте и созерцайте... и мало-помалу вы освободитесь от ига невежества» (т. е. от здравого смысла).

Впрочем, здравый смысл не исчезает, а приспосабливается к времени, и остаток гулливеровской экскурсии по Академии прожектеров посвящен иллюстрациям на тему о здравомыслии в политике. Нейтральный слог меняется на откровенно издевательский, и Гулливер становится тенью иронизирующего автора. Этот облик он сохраняет при описании политических прожектеров и своего визита **{88}** на «остров чародеев и волшебников» Глаббдобдриб, всего главы три, чтобы затем снова превратиться в стандартного среднего европейца.

Главы эти выпадают из стиля книги и Свифту как писателю, по общему убеждению, особой чести не делают, хотя и послужили некоторым истолкователям «ключом к сатире» Свифта. «Ключ» этот, однако, ничего не открывает: недаром его использование всегда приводило к чудовищным натяжкам. Главы написаны практически уже после завершения книги и служат декану Свифту главным образом затем, чтобы отвести душу, рассыпая насмешки направо и налево. Вопрос о том, в какой степени и как именно эти главы — фельетон о желательных политических усовершенствованиях и памфлет на всемирную историю — выражают взгляды самого Свифта, — вопрос сложный и особый, имеющий к «Путешествиям Гулливера» самое отдаленное отношение.

Однако эти главы играют свою роль и в Гулливеровской повести. Читатель вместе с Гулливером удостоверяется: рехнулись не те, кто стряпает бредовые проекты, а «несчастные», которые изыскивают способы как-нибудь образумить мир. Эти-то и есть фантасты, что понятней всего при взгляде на современную политику. Мыслить здраво — значит применяться к безумию, так обстоит дело в настоящем, а настоящее немногим безумнее прошлого, представшего перед Гулливером вереницей глупостей, обманов, предательств и мерзостей.

Со времен «Одиссеи» путешественники то и дело забредали в «общество теней и духов», и Гулливеру повезло не больше других. На чародейном острове Глаббдобдриб он вступает в контакт с мертвецами всех времен и народов — лишь затем, чтобы пронаблюдать воочию, как человеческой историей от века управляют одни и те же пороки и соблазны. Исключения только подтверждают **{89}** правило. Хоровод умерших пародирует воскресение мертвых и едва ли не Страшный суд; замыкают вереницу живые современники Гулливера, которые даже по сравнению с покойниками кажутся ему «дряблыми и протухшими» клочьями плоти.

Итак, здравомыслие состоит в сознании неизлечимости и неизменности человеческого безумия; в прошлом искать нечего и почти что некого; прогресс науки в отрыве от прогресса общества ведет лишь к царству всеобщего идиотизма. Таковы итоги странствий по областям реализованных мечтаний, исторических мифов и сбывшихся чаяний. Таков, стало быть, удел смертных. Да, по если человек достигнет бессмертия? Об этом, увы, можно только мечтать, но ведь тогда бы все изменилось? Пусть для начала хоть некоторые обретут земное бессмертие

— разве не воспарит их освобожденный разум? Имея в запасе вечность, можно стать за это время богатым, счастливым, умным, добрым, могущественным» — «живым кладезем премудрости и истинным оракулом своего народа»!

Прекрасно, но почему же «только мечтать»? Вот Гулливеру, например, удалось в королевстве Лаггнегг свести знакомство с «пятью или шестью» бессмертными (по-здешнему «струльдбругами»), «и самым молодым из них было не больше двухсот лет». Обнаружил он то самое, чего можно было заранее ожидать, слегка подумавши, а именно: что земное бессмертие есть увековеченная старость, все более дряхлая, недужная и растленная. Мечталось, конечно, не об этом, но какое дело Гулливеру до радужных грез общественного воображения? Он не пленяет читателя надеждами и вымыслами, а «излагает одни только голые факты», и бессмертие предстает в его записках именно фактом, голым, жутким и отвратительным, «Я искренне устыдился заманчивых: картин, **{90}** которые рисовало мое воображение», — сурово и честно заключает путешественник. Читатель волен делать свои заключения, при желании даже и посмеяться над «разгулом необузданной думки» пессимистического священнослужителя. На самом же деле в свифтовском «зеркале особого рода» отразились радужные надежды и замыслы XVIII и не только XVIII в. — отразились и приобрели реальные черты. Свифт пародировал и доводил до абсурда; но абсурд становился одним из законов буржуазной действительности. Вот и получалось, что Гулливер открывал глазам читателя действительную дорогу в царство безумия, дорогу, по которой наяву предстоял еще долгий путь

И путешествие в будущее, и взгляд в разверзнутое прошлое возвращали к действительности, к трезвой и жестокой самооценке. Эту самооценку Гулливеру предстояло всерьез проделать в следующем путешествии.

Глава пятая,

в которой
читателю предлагается выбирать
или же не выбирать
между человеком и лошадью

Четвертая и последняя часть записок Гулливера всегда была лакомым куском для критиков и толкователей и до XX в. редко приходилась по вкусу читателям. Не будь она написана, «Путешествия Гулливера» окончательно отодвинулись бы, как «Робинзон Крузо», в разряд детской и приключенческой литературы, а декан Свифт казался бы то ли стародавним забавником и выдумщиком, то ли благодетельным, хотя и жестоким обличителем. Такое заблуждение все равно существовало и **{91}** существует, но проповедуется обычно в обход четвертой части «Путешествий».

Облюбованный нами простодушный читатель, вероятно, потеряет интерес к этой части где-нибудь в конце второй — в начале третьей главы. Скорее всего, он просто пролистает остаток книги. Действительно: никаких приключений нет, фантастики — не больше, чем в басне, и та нелепа и даже как-то неуклюжа, вместо поучительности — сосредоточенное, почти монотонное издевательство над всем и всеми.

Вообще почти никаких признаков романа или отчета о путешествиях, а больше похоже на проповедь.

Заметим, кстати, что пассажи Гулливера, позднее объявленные «мизантропическими» и «оскорбляющими человеческое достоинство», в свифтовские времена звучали иначе. Они скорее вызывали в памяти Ветхий завет, в котором такого рода «мизантропии» сколько угодно и который был близко знаком каждому тогдашнему читателю. Тем сильнее становилось ощущение проповеди.

В роли проповедника — сам Гулливер. Наглядными иллюстрациями к проповеди служат сопоставления: человек раздетый и одетый, дикий и цивилизованный, лошадь и человек (попутно — человек и осел, человек и свинья). Сопоставления не навязываются, а осмысляются, аналогии не предписываются, а доказываются.

Гулливер обращается к читателям с проповедью нового типа, построенной как наукообразная «лекция на тему о моральном облике». Речь идет о том, что если человек — животное, то с точки зрения разума и естества его следует признать животным безнадежно испорченным, «самым грязным, гнусным и безобразным из всех порождении природы».

Происходит всего-навсего следующее: взбунтовавшийся экипаж высаживает капитана Гулливера на **{92}** неизвестный берег; он выбирается на проезжую дорогу с человеческими, лошадиными и коровьими следами; встречает скотов «странной и безобразной внешности» (дается их детальное описание); целое стадо скотов осаждает его с намерением не то убить, не то обгадить; на выручку приходит «серая в яблоках лошадь». Лошадь говорит на незнакомом языке и тем удивляет Гулливера; со своей стороны, она не может надивиться на говорящего и одетого путешественника. Гулливер предполагает волшебство и магию, но никаких магов не обнаруживается: лошади как лошади, только что умеют разговаривать, почем знать, может быть, они это умеют и в Англии? (в конце книги выясняется, что умеют). Вышеозначенные скоты служат лошадям тягловыми животными и исполняют черную работу. Присмотревшись, Гулливер «с ужасом и удивлением» замечает, что между ним и скотами нет никакой внешней разницы, если не считать одежды.

Скоты называются йэху и суть, действительно, люди в состоянии первобытной невинности, ничуть не хуже — если не лучше — европейцев. Поначалу Гулливер просит было не путать его, цивилизованного англичанина, с этими грязными, гнусными и голыми существами: он-де другого сорта. Но тождество породы выявляется путем ряда сличений, проведенных под руководством его серого в яблоках хозяина. Внешнее сходство не случайно: налицо те же повадки, устремления, пристрастия, тот же в существе своем образ жизни.

Честные и немудрящие лошади («гуигнгнмы», как они себя именуют) не умеют привирать, приукрашивать, оттенять, смягчать и выгодно противопоставлять. Каков их разум, таков и язык: и в переводе на этот язык описание быта и нравов любезного отечества капитана Гулливера выглядит как «срывание всех и всяческих масок».

{93} С такой же сокрушительной и оголяющей наивностью описывал цивилизованное общество поздний Толстой.

Словом, разницы нет: европейцы — просто разряженные, разъевшиеся и вконец обнаглевшие йэху. Возразить на это Гулливеру нечего; да и у читателей редко находились серьезные возражения, кроме ругани по адресу декана Свифта. Действительно, если не выдать человеку

заранее патент на благородство, не признать его априори венцом творения и мерилом всех вещей (а сам по себе разум не дает для этого оснований), то животное-человек в ряду прочих животных выглядит безотрадно. Рассуждение незамысловатое и ничего особенного не доказывающее. Из него можно сделать самые разные выводы; Гулливер выводит, что надо по возможности изжить в себе человеческий облик и провести остаток дней в созерцании лошадей.

Лошади, напротив, резонно полагают, что йэху есть йэху (т. е. человек) и гуигнгнму (т. е. лошади) уподобиться нипочем не может. Покаяние и смирение противны лошадиному разуму и естеству, а посему то и другое должно быть признано простым кривлянием. Нянчиться с этим нелепым йэху нечего, пусть себе кривляется в своем стаде, да не здесь — мало ли чему он научит здешний рабочий скот? — а там, откуда явился. Гулливер униженно и безропотно отбывает на родину и запирается там от человечества в конюшне.

Рассказ, как видим, крайне беден событиями. На роли происшествий — наблюдения, сопоставления и выводы, причем львиная доля наблюдений относится не к здешнему, а к европейскому образу жизни.

Сначала рассмотрению подвергается человек как сугубо биологическая особь, затем человек как существо общественное. Завидев людей без одежды, беззаботно, почти по-руссоистски резвящихся на лоне природы, **{94}** Гулливер с непривычки не узнает сородичей и вчуже детально описывает человеческое тело. Выходит что-то обезьяноподобное; но ведь с точки зрения науки человек и есть член надсемейства узконосых из подотряда обезьянообразных.

Задолго до Дарвина декан Свифт обращал на этот факт благосклонное внимание публики и предлагал даже признать некоторое специфическое вырождение подотряда обезьянообразных в человеческом образе.

Все человеческие отличительные свойства, ставящие его особняком в животном мире, суть, согласно капитану Гулливеру, просто порча обезьяньей породы. Человек, как известно, отличается от животных прежде всего образом своей жизни, характером взаимоотношений с окружающим миром, йэху тоже: они живут стадным обычаем, в обстановке непрерывной грызни, злобы и зависти, выбирают вождем ублюдка из ублюдков, с особыми ужимками обхаживают своих самок, воют, кривляются, гримасничают, пожирают что ни попадя, пакостят и загаживают все вокруг, обманывают и крадут, — словом, если и образуют новый биологический подвид, то назвать его гомо сапиенс можно только в насмешку.

Правда, европейские йэху гораздо более склонны осуществлять целенаправленную деятельность, ориентированную на создание предметов потребления, в условиях общества и с помощью искусственно созданных орудий труда. Хозяин-гуигнгнм расценивает это как злоупотребление крохами разума, способность ухудшать, умножать и ублажать пороки, присущие породе йэху. Гулливеровский отчет о событиях и понятиях новейшей истории как нельзя лучше подтверждает мнение гуигнгнма.



{95}

Заметим тут же, что йэху — не выдумка декана Свифта или капитана Гулливера. Почти все в описаниях внешности и повадок «этих омерзительных скотов» заимствовано из наблюдений действительных путешественников свифтовской поры над дикарями и обезьянами. Составлен всего-навсего сводный портрет.

Власть человека над природой сама по себе ничуть не скрашивает исконных повадок и наклонностей йэху, скорее усугубляет их. И чем больше эта власть, тем чудовищнее становится свистопляска этих бешеных обезьян. Таковы совместные выводы Гулливера и его хозяина; и если допустить, что: 1) человек — не более чем животное, 2) у человека нет иного назначения, кроме как **{96}** удовлетворять свои потребности, то выводы безукоризненные. Во всяком случае, и рассуждения, и выводы вполне под стать началу буржуазной цивилизации.

Естественно, что такая омерзительная картина и такая жуткая перспектива вызывают страх, отвращение и униженность. И Гулливер тут же творит себе спасительный кумир — обыкновенную лошадь.

Надо сказать, что правдоподобие свифтовского лошадиного царства до сих пор недооценивается. Декан Свифт лошадей любил и знал в них толк. Не в том дело, могут ли вообще лошади сидеть на задних ногах, доить коров и мастерить горшки: это лишь побочные явления здешней жизни. Существеннее то, что у Свифта они могут разговаривать; и если мы попробуем представить себе говорящую лошадь, то перед нами возникнет гуигнгнм. Это слово якобы переводится как «совершенство природы»; но ни в поведении, ни в быту, ни даже в предполагаемом разуме гуигнгнмов не больше идеального, чем в обычной лошади. А что до общественного жизнеустройства гуигнгнмов, то Гулливер по большей части описывает, сам того не замечая, английское коневодство, хоть и налаженное здесь само собой, без человека.

Вольно ему считать это идеалом; но когда это кажется идеалом (хотя и пресным, как здешняя пища Гулливера) читателю, то это попросту значит, что на него подействовал риторический прием контраста человека и лошади. Проповедь, стало быть, удалась с начала до конца; а в заключение читателю предлагается топотать, ржать и презирать человечество вместе с Гулливером либо же рассудить самому: как это человек вдруг так сплоховал в сравнении с парнокопытным четвероногим?

Факты преподаны, объяснения представлены.

Как же с ними обойтись? Что же в конце концов привез нам Гулливер из своих четырех странствий? Вопрос нешуточный, **{97}** и разные читатели решали его кто во что горазд. Книге выбирали разные места на полке, Свифту — разные титулы в литературной табели о рангах, а Гулливеру — разные амплуа, вплоть до «знаменитого капитана» в известной советской радиопередаче для детей младшего и среднего школьного возраста.

Книгу Свифта переводили, переиздавали, пересказывали, очищали, сокращали, надставляли, порицали, возносили, толковали, расчленяли и исследовали. Кроме того, ее читали — часто вовсе не те самые лица, что бились над ней, но факт тот, что читали беспрерывно почти двести пятьдесят лет, и непременно кто-нибудь держит ее в руках сию минуту. *(выделено нами, ldn-knigi)*

Книга была и осталась интересной и, как всякая интересная книга, неразгаданной и неисчерпанной, скажем смелее — неисчерпаемой, хотя почти каждый новый ее объяснитель претендовал на последнее слово. Что ж, такие претензии тоже по-своему интересны и показательны. «Путешествия Гулливера» — один из замечательных пробных камней морали и интеллекта (не говоря уже о чувстве юмора); во взаимодействии с этой великой книгой то и другое вырисовывается необычайно отчетливо. Иные выкладки по поводу «Путешествий» мало помогают читать и понимать Свифта, зато как нельзя лучше обнаруживают строй мыслей и оценок целой эпохи.

Мы бегло перебрали темы и положения книги — с оглядкой на ее автора, на свифтовские времена и первых читателей гулливеровских записок. Мы получили тем самым некоторое предопределение их судьбы. Судьба книги есть судьба ее отношений с читателями; и как бы прихотливо и случайно она ни складывалась, она лишь исполняет предначертания, лишь открывает книгу на разных ее страницах. Бывают книги, без остатка растворенные в своей читательской судьбе, бывают — на уровне **{98}** Данте и Шекспира — превыше всякой судьбы.

«Путешествия Гулливера» своей судьбой управляют: это «зеркало особого рода» сделано с таким расчетом, чтобы отражать шествие новой истории, ее во многом предугаданный Свифтом облик. Становился явственным то один, то другой слой свифтовской иронии, оживали и крупным планом придвигались к читателю то одни, то другие сцены и част книги. Эпоха за эпохой находили в ней свое отражение И каждый читатель, как бы он ни реагировал на эту книгу, реагировал на свое собственное подобие, комментировал себя самого.

(Попутно заметим, что ни внимательное чтение Свифта, ни его положительная оценка не есть святая обязанность каждого писателя. Крупнейшим поэтам и прозаикам — таким, как Гете, Шиллер, Байрон или Диккенс, — Свифт мог быть плохо известен и не особенно интересен, и смешно было бы корить их за это. Напротив, можно даже выявить родство их со Свифтом по линии сатиры, но это — задача литературоведческая, выходящая за пределы данной книги. Поэтому стоит предварительно заметить, что, разбирая отношение того или иного писателя к Свифту (и более узко — к «Путешествиям Гулливера»), автор отнюдь не претендует на полноту их характеристики и просит не придавать невольным интонациям упрека или похвалы решающего значения.).

В этом нам предстоит убеждаться и убеждаться — и от раза к разу по-новому припоминать насмешливое и не особенно скромное прорицание Свифта:

«...книга проживет столько же, сколько наш язык, ибо ценность ее не зависит от преходящих обычаев мышления и речи, а состоит в ряде наблюдений над... несовершенством, безрассудством и пороками рода человеческого».

{99}

Часть третья

НА ОТМЕЛЯХ ВЕКА РАЗУМА

*

Люди высказывают о книге весьма различные мнения: одни говорят, что в ней бездна остроумия, другие — что ни малейшего.

Джон Гэй, ноябрь 1726 г.

Добрые люди, пожалуй, подумают, будто я замышлял насмешкой урезонить глупость и тем же бичом изгнать из жизни пороки.

Джонатан Свифт, июль 1732 г.

Глава первая,
в которой
соотечественники капитана Гулливера
начинают обижаться на доктора Свифта

Английская публика приняла «Путешествия Гулливера» с благодарным смехом; но многие, отсмеявшись, начинали хмуриться. Это очередное подношение доктора Свифта было, как и все прочие, отнюдь не безобидно, под видом лакомства доверчивым читателям скармливали **{100}** пилюли замедленного действия, и во рту от них оставалась неприятная горечь. Протесты, один другого решительнее и авторитетнее, посыпались вскоре после смерти Свифта, и все они имели в виду не столько книгу, сколько облыжные и ехидные намерения ее автора. «Путешествиями», особенно четвертой их частью, уличали пресловутого декана — в бесчеловечности, холодности, озлобленности, да пожалуй что и в некотором сумасшествии.

Сорок лет при жизни и не меньше пятидесяти посмертно доктор Свифт присутствовал в сознании своих сограждан как действующее лицо, как вездесущий мрачный призрак насмешника и оскорбителя, и сочинения оставались в тени личности.

Стихотворец Уильям Хейли в 1781 г. поместил ужасную «тень Свифта» в аду, на «чадном троне», где этот «странный и пестрый призрак» восседает в качестве «верховного жреца всего дьявольского мизантропического отродья». Лишь еще через тридцать лет Байрон отважился возгласить в стихотворении «По стопам Горация» (1811): «Мир вам, ошибки Свифта! Скрасил их он остроумьем» (пер. И. Вольпина). Это отпущение грехов звучит почти как байронический вызов обществу и даже слегка умеряется оговоркой насчет свифтовской «грубости шутки и непристойности слога». Юный поэт просто предлагает считать Свифта забавным сочинителем былых времен.

Личность заслонилась состряпанной к середине XVIII в. легендой о Свифте и постепенно отходила в прошлое; на первый план выдвигались сочинения. Так было в Англии. В Ирландии же Свифт и поныне остался известен как неистовый декан собора св. Патрика, один из первых

глашатаев ирландской свободы и основатель дублинской больницы для умалишенных. В Англии тоже было бы чем его вспомнить помимо книг, но чувство **{101}** собственной истории у малых и угнетенных стран всегда несравненно острее и глубже.

В лондонском кругу «Путешествия Гулливера» были в новинку почти год: их затмил успех «Оперы нищих» Гэя; затем вниманием публики надолго завладела поэма Попа «Дунсиада», где поэт издевательски хвалил в лицо своих литературных врагов — за глупость, нудность и бездарность. Кстати, «Дунсиада» во втором дополненном издании была снабжена введением, указателем и вариантами, подписанными именем Мартинуса Скриблеруса. Поэму украшало восторженное и дружеское обращение к Свифту:

Oh thou! whatever tille please thine ear —
Dean, Drapier, Bickerstaff or Gulliver!
Whether thou choose Cervantes serious air,
Or laugh and shake in Rabelais' easy chair...
Mourn not, my Swift, at aught our realm acquires.
Here pleased, behold her mighty wings outspread
To hatch a new Saturnian age of lead

(«О ты, не ведаю, как ты хотел бы зваться — Деканом, Суконщиком, Бикерстаффом или Гулливером! Примешь ли ты серьезный вид, как Сервантес, иль предпочтешь трястись от смеха в раблезианском кресле... Не сожалей, мой Свифт, о здешних прелестях нашей страны. Взгляни лучше, как она, простерши мощные крылья, высиживает свинцовое благоденствие грядущего века».).

Скриблерианцы распоряжались английскими вкусами до начала 40-х гг. и в случае чего на расправу бывали скоры. Они ссылались на Свифта и отсылали к нему читателя (особенно к «Путешествиям Гулливера») при всякой возможности; его имя служило тогда чем-то вроде литературного пароля. Поп и Гэй наперебой писали «объяснительные и примечательные» стихотворные вариации на гулливеровские темы. Арбетнот **{102}** опубликовал, — как обычно, без подписи — «Отчет о состоянии наук в государстве Лиллипутии» и пародийные «Критические заметки о «Путешествиях Гулливера». Им подражали, иной раз не без подвоха: жанр комментариев и толкований «Путешествий Гулливера» служил обоюдоострым оружием литературной полемики.

Впрочем, «Путешествия» читали независимо от всякой полемики. Тот же Арбетнот замечает в 1735 г.:

«Путешествия капитана Гулливера уже несколько лет как служат забавой англичан обоего пола, так что мне не нужно знакомить с ними читателя».

В 1726—1727 гг. вышли два лондонских и одно дублинское издание книги — двухтомники в восьмую долю листа с портретом капитана Гулливера на фронтисписе и четырьмя гравюрами, по одной на путешествие. Затем уже знакомый нам печатник Бенджамин Мотт выпустил первое карманное издание в двенадцатую долю; разошлось и оно. Какой-то ловкач не замедлил состряпать третий том из двух частей, где Гулливер еще раз съездил в Бробдингнег, а затем посетил идеальные страны Спорунда и Севарамбия. Бробдингнег и Спорунда —

беспомощные и малограмотные подделки под Свифта, зато Севарамбия — довольно толковый перевод полузабытого французского утопического романа конца XVII в. «История севарамбов» ДениВераса д'Але. Это последнее путешествие потом еще раз пытались навязать Гулливеру, переменив Севарамбию на Каклогаллинию.

Под именем свифтовского героя только на английском языке опубликовано общим счетом до сотни прозаических сочинений— трактатов, фельетонов, утопических, сатирических и порнографических продолжений, наконец, даже «Лиллипутская библиотечка, или Гулливеров музей: полная система знаний для юношества в десяти томах, составленная Лиллипутиусом Гулливером» (1782).

{103} Имя Гулливера было расхожим ярлыком; свифтовское словечко «лиллипут» употреблялось все более расширительно. Впрочем, пока что оно еще отсылало читателя в свифтовскую страну Лиллипутию: так, журнал «Джентльменз мэгэзин» с 1734 по 1742 г. подавал отчеты английского парламента как «Дебаты в сенате Лиллипутии». Репортаж вел тогда еще молодой журналист Сэмюэль Джонсон, о котором речь впереди.

В 1727 г. в Лондоне появилось первое сокращение книги Свифта: оно носило подзаголовок «достоверно сокращенное издание».

С помощью самого Свифта и его ирландских друзей было подготовлено дублинское собрание сочинений декана у издателя Фолкнера. «Путешествия Гулливера» составили третий том собрания.

Рукопись Свифта была утрачена, сохранился только список исправлений, сделанных по рукописи в первопечатном тексте Мотта молодым лондонским другом автора Ч. Фордом. Фолкнер не решился учесть все эти исправления, зато в текст были внесены новые, часто довольно небрежные, хотя и сделанные по поручению Свифта. Наконец, прежние незамеченные опечатки частью остались, а частью пополнились новыми незамеченными. Словом, хотя фолкнеровское издание и имеет немалую ценность, все же это лишь один из источников; окончательной и серьезной текстологической выверки «Путешествия Гулливера» дождались лишь к 20-м гг. нашего века.

Издание следовало за изданием; круг читателей все расширялся. С явным расчетом на книгочеев попроще содержание первой части в издании 1750 г. раскрывалось так: «Путешествие в Лиллипутию, где описываются нравы и обычаи таких крошечных людей Лиллипутов, что капитан как-то раз запихал в карман сразу **{104}** пятерых». В 1751 г. «Путешествия Гулливера» вышли в Лондоне в шестой раз (не считая идентичных и пиратских перепечаток); к 1754 г. понадобилось второе собрание сочинений Свифта — в двенадцати томах, под редакцией Дж. Гоксуорта. Многие его примечания, при всей своей наивности, стали классическими и не раз перепечатывались. Стоит привести обобщающий пассаж о «Путешествиях Гулливера»: «Автор явно имел в виду во всех четырех частях умерщвление гордыни, которая, и вправду, не для человека создана и порождает не только смехотворнейшие безумства, но опустошительнейшие бедствия. Физическая сила и красота, мудрость и добродетель человечества представлены здесь не как поводы для гордыни. Смиряться побуждает нас зрелище крохотного роста и жалкой слабости лиллипутов, устрашающего уродства бробдингнежцев, ученого безумия лапутян, а также сравнение нравов гуигнгнмов с нашими».

Это что-то вроде поручительства за благонравие декана; но за этим чувствуется внимательное чтение и здравое размышление над книгой. В 1756 г. такие слова о Свифте были уже не по сезону.

Наступало новое время, чувствительное и гуманное; опасный призрак доктора Свифта тревожил воображение и оскорблял мораль. Призраку надлежало указать его место.

Вскоре после смерти Свифта за первую книгу о нем засел некто Джон Бойль, лорд Оррери, отрекомендовавшийся закадычным другом покойника. Избрав адресатом своего сына, достопочтенного Гамильтона Бойля, Оррери взялся благородно, пространно и авторитетно защищать перед ним память своего сумасбродного и противоречивого друга. Значительно быстрее, чем многие книги Свифта, сочинение Оррери было переведено на французский, немецкий, итальянский и иные европейские языки.

{105} Как сообщает Оррери, декан Свифт, конечно, употребил свои немалые способности во зло: «...с его возвышенным гением ему надо было обходиться с людьми менее одаренными как с детьми, коих сама натура поручила ему наставлять, подбадривать и улучшать». Нет чтобы устремить свой ум к чему-нибудь возвышенно-полезному и освещать туда путь человечеству: Свифт, напротив, предпочитал язвительные умствования сердечному чувству. Это и погубило его писательский дар.

Взять те же «Путешествия Гулливера» — в них нет ничего возвышающего или душеполезного. Это такая морально-политическая повесть, написанная с изумительной изобретательностью и остроумием, но пронизанная язвительной и желчной сатирой. Есть у нее и чисто художественные недостатки: в Лиллипутии и Бробдингнеге, например, ум читателя без толку утомляется оптическими иллюзиями. Во всех поразительных открытиях Гулливера нет ничего прекрасного или полезного. А ведь их можно было повернуть так, чтобы человечество не только удивлялось, но и совершенствовалось бы. В четвертом путешествии Свифт хотел, как это доподлинно известно лорду Оррери, нарисовать утопию: но у него это не вышло. Его гуигнгнмы «холодны и пресны», а придумав гадких йэху, декан Свифт сам уподобился таковым. (Заметим кстати, что тут Оррери предвосхищает грядущих критиков. Каждый второй из них не упускал случая адресоваться к тени Свифта с возгласом: «Сам ты йэху!») Вообще, его выдумки не развлекают, а внушают отвращение, не наставляют, а шокируют.

За все это Свифта надо решительно осудить: он позволил себе мизантропию, недопустимую в приличном обществе. В лице человечества он оскорбляет бога, ибо человек — божья тварь, а мир устроен божьей волею. (Логика заготовлена впрок на два столетия.)

{106} Оррери требует положительного героя и положительных устремлений; точнее говоря, требует, чтобы у него на глазах возвеличивали и увековечивали — хотя бы на бумаге — его собственную жизнь. Он согласен, пусть ему укажут на его отдельные недостатки, но заодно пусть предъявят образцы и обрисуют перспективы. Раз ни того, ни другого нет (на положительных гуигнгнмов он не соглашается: бледно и слабо), значит, человечество оболгано, а читатель обманут. Он ведь, собственно, и выступает от лица читателя: «То представление, какое дает нам Свифт о человеческой натуре, должно ужаснуть и даже вывести доверчивого читателя из умственного равновесия». Словом, в погоне за злоречивым остроумием декан собора св. Патрика явно забыл о своих обязанностях — как писательских, так и пастырских.

Оррери и в голову не приходит предположить, что у Свифта могли быть совсем иные и куда более серьезно обоснованные представления о добре и зле, о «положительном» и «отрицательном».

Свое миропонимание он считает нормальным, естественным и самоочевидным. Впрочем, не один он. В его книге зачитан обвинительный акт Свифту от лица всей эпохи Просвещения. И один из глашатаев и ведущих беллетристов этой эпохи, Сэмюэль Ричардсон, вскоре поддержал знатного обвинителя.

Еще в 1743 г., в частном письме по поводу «Дунсиады» Попа Ричардсон сетовал, что такие выдающиеся авторы растрачивают талант в злобных нападках, вместо того чтобы воспитывать чувства и вдохновлять умы. Они пренебрегают своим просветительским долгом перед читательской массой, а посему «некоторые творения Попа, Свифта и других видных писателей... надо бы предать рукам обыкновенного палача для публичного сожжения».

{107} В 1752 г. он в восторге от первой книги о Свифте. Лорд Оррери сумел показать, как ужасен, груб и дик был декан в своей личной жизни, в отношениях со слабым полом: «Это весьма в духе тех его сочинений, где он пытается принизить человеческую натуру и превознести скотскую...» (разумеется, речь идет о «Путешествии в страну гуигнгнмов»). Как это понятно и правильно, что Свифт сошел с ума: «...наказание имеет в себе ужасную справедливость». Единственно, что, по мнению Ричардсона, его лордство зря так расписывает ум Свифта: «каков бы ни был его (т. е. Свифта.— *В. М.)* ум, боюсь, что в сердце у него не было и половины той доброты» (что у Оррери).

Из писем Ричардсона все это могла усвоить и разнести по знакомым одна-другая чувствительная адресатка; зато беллетристикой его упивался весь Старый и Новый свет. В романе «Кларисса, или История молодой девицы» (1747—1748) читатели могли посожалеть вместе с героиней, «что прославленный доктор Свифт употреблял свое замечательное перо так, что чистые взоры опасаются заглянуть в его сочинения, а чистый слух — услышать цитату из них». А через несколько лет, в «Истории сэра Чарльза Грандисона» (1753), тени «прославленного доктора» было сурово замечено: «Бог естества не имел намерения сотворить человеческую натуру низменной и презренной... несмотря на свойственные смертным слабости».

Все это не возражения, а обвинения, и обвинения стандартные. Другие обвинители разве что чуть понижают или повышают тон, иногда подыскивают вдобавок более или менее сокрушительные эпитеты. Даже действительно близкий и доверенный ирландский друг Свифта П. Дилэни, мягко возражая Оррери по поводу ужасов личной жизни и невыносимого характера декана, **{108}** насчет злополучного четвертого путешествия только вздыхает: «Преувеличенная сатира... нравственное уродство... способна лишь обижать, а не творить добро... лучше бы она осталась ненаписанной».

Понятно, что чувствительным гуманистам Англии XVIII в. трудно приходилось с «Путешествиями Гулливера». Книга снова и снова заставляла звучать все ту же гамму критических чувств: от грусти и недоумения до негодования и возмущения. Кроме всего прочего, записки капитана Гулливера подразумевают совсем не то понятие о литературе, которое успело сложиться и утвердиться в XVIII в. за каких-нибудь полстолетия. Свифтовские «Путешествия» состоят в прямом родстве с книгами Рабле и Сервантеса; на современного же им «Робинзона Крузо» они походят только в насмешку. Как и в «Сказке бочки», Свифт просто «изобразил» стиль презираемой им литературы, в данном случае «правдивый язык» записок мореплавателя.

По сути же дела «Путешествия Гулливера» в литературе XVIII в. — книга-уникум, которая напрашивается на сопоставления и тут же опровергает их.

Не зря Джозеф Уортон, автор первой монографии о жизни и творчестве Попа, заметил: «В будущем столетии Гулливер станет так же темен, как Гаргантюа». Поскольку Уортон имел в виду, что сатирические намеки Свифта устареют и «Путешествия Гулливера» станут поэтому неактуальны, постольку он был не прав. Но они и в самом деле стали для многих раздражающе, почти болезненно непонятны, а по новым стандартам даже неприемлемы или просто не нужны.

Эти новые стандарты могли называться «правилами вкуса и морали», «законами изящного» или «потребностями науки и просвещения». Слова надергивались к случаю из самых захватанных, «парольных» выражений **{109}** эпохи. Дело не в словах, а в том, что литература была сочтена предметом читательского обихода и объявлена беллетристикой. Беллетристике же надлежало развлекать поучая и поучать развлекая: Вольтер наставительно и опасно пошутил, что все жанры хороши, кроме скучного,

Словом, писатель обслуживает читателя хорошо пережеванными философскими идеями и разумно обоснованными правилами морали, на худой конец хотя бы забавляет соблазнительными картинками. С такой потребительской точки зрения никак невозможно признать за литературой характер независимого исследования истины приемами словесного искусства, да еще — в случае со Свифтом — сатирическими приемами. Такого, как было всем известно, попросту не бывает: и Свифта поминутно призывали из гроба к ответу за иронию, двусмысленность, непристойность (грубую, а не соблазнительную) и неуважительность; более же всего за то, что он почему-то не считается с общепринятыми мнениями новой эпохи. Не пересматривать же мнения из-за сумасшедшего ирландского декана! Да и чего ради? Мнения верны, потому что общеприняты. Стало быть, Свифт недопонял, если не хуже. Либо его «Путешествия» неудачны, либо злонамеренны. Между этими приговорами надолго расположилась типичная просветительская критика Свифта.

Надо еще учесть, что «Путешествия Гулливера» обманчиво (и заманчиво) просты и прямолинейны. Читатель легко и незаметно подставляет себя на место Гулливера, тем более, что Гулливер, особенно поначалу, совершенно лишен индивидуальности: это средний, можно даже сказать, усредненный тип человека нового времени (понятие хорошо суммируется английским существительным everyman). В этом смысле он сродни **{110}** Робинзону Крузо, о котором то же самое говорилось многократно.

Что же выходит? Читателя-Гулливера ставят в невыгодные, жалкие и унизительные положения, вынуждают издеваться над самим собой, а под конец предлагают либо забиться в конюшню вместе с брезгливым капитаном, либо копошиться где-нибудь подальше от автора и героя в стаде своих шкодливых сородичей-йэху. Выходит как-то странно и неприятно.

И все же Свифт никак не исчезал из памяти. Его вспоминали, хулили и читали. Уже в 1804 г., в сборнике анекдотов под названием «Свифтиана» сообщается, что «кто во всех трех королевствах имеет хоть какие-нибудь книги, у того есть Свифт и его безделки». («Безделки» — словечко самого Свифта.

Его девизом последних лет было «Vivent les bagatelles!» — Да здравствуют безделки! — *фр.)* Читали большей частью для развлечения, не особенно вникая, и нередко тут же торопились отплеваться. «В какой навоз он макал свое перо! — восклицает один. — Он кощунствует против человеческой натуры, которая немногим ниже ангельской». «Дикий зверь, дразнивший и раздражавший почти весь род людской», — цедит другой. «Враг не только Человека, но и самого Добра», — соображает третий. Литератор Джеймс Харрис на 583-й странице своих «Философских умозрений» (1781) припечатывает: «В последнюю часть свифтовского Гулливера... заглядывать стыднее, нежели в те книги, что мы запрещаем как самые растленные и непристойные». (Стоит обратить внимание на это уверенное «мы».) Подумав немного, он с ужасом добавляет:

«Это мизантропия, опасная... для самых оснований Морали и Религии».

Одну из своих известных проповедей Свифт начал так: «В священном писании достаточно выразительных **{111}** напоминаний о жалкой участи человека в течение всей его жизни: о его слабости, гордыне и суетности, о его непомерных желаниях и постоянных разочарованиях; о господстве над ним его страстей и помрачениях его разума; о его лживых надеждах и действительных, а равно и воображаемых страхах... о его заботах и тягостях, о его болезнях телесных и душевных... И мудрецы во все времена размышляли о том же».

Как видим, у доктора Свифта была своя манера читать библию, извлекая из нее комментарий к «Путешествиям Гулливера», в том числе и к последней их части. И Свифт прекрасно знал, что такое понимание христианства не по уму и не по силам либералам — обывателям нового времени. Задолго до «Путешествий Гулливера» в свифтовском памфлете, написанном от лица такого обывателя, читаем; «Я надеюсь, что никто не сочтет меня столь недалеким и не подумает, будто я встал на защиту настоящего христианства... Это значило бы... нарушить весь ход и порядок вещей, нанести ущерб торговле, погубить искусство и науку вместе с теми, кто ими занимается, — короче говоря, обратить двор, биржи и лавки в пустыни». Нет, такое «настоящее христианство» ничего общего с «Религией» Харриса не имеет: напротив, как раз подобные-то подрывные и злонамеренные тенденции тот и обличает в «Путешествиях Гулливера». Харрис, как и все порядочные и благонравные люди, называет «Религией» умильное благословение того или иного порядка вещей, «нынешних представлений о богатстве и власти», как выражался в цитированном памфлете доктор Свифт. И разумеется же, мерзкая книжонка о Гулливере «опасна... для самых оснований» этой общепризнанной «Религии»... конечно, христианской, а какой же еще?

Это один из сотни негодующих защитников «Морали **{112}** и Религии» читателя от безбожного и безнравственного декана. Прочие негодовали примерно в тех же выражениях, и мы пока более не будем затрудняться вопросом о благочестии Свифта — тут как будто все ясно.

Глава вторая.

в которой
английская серьезность
успешно борется с английским юмором

Щепетильным английским критикам XVIII в. до того мозолили глаза голые и грязные йэху, что они, как сговорясь, махнули рукой на остальные три путешествия. Забавные фантазии с сатирическим оттенком, язвительные намеки и карикатуры — это все можно, но каждый критик точно знал, где именно должно остановиться сатирику. «Сатира зашла слишком далеко и выродилась в клевету на род человеческий», — сетует в 1790 г. по поводу страны гуигнгнмов неизвестный журналист и обращается к читателю: «Встает простой вопрос: человек, каков он есть, не выше ли стоит... чем остальные животные?.. Если же выше, то нет ни мудрости, ни правоты в том, чтобы изображать его ниже прочих».

Звучит как научное опровержение: чувствуется современник Ламарка и Кювье, и не хватает разве прямой ссылки на установленные наукой факты. Но Свифт провинился не только перед наукой, а еще и перед ценителями всего прекрасного и высокого: «... того, чьи мысли не обращены ни к возвышенному, ни к патетическому, никак нельзя отнести к рангу первоклассных художников». Так пишет тот же журналист, и здесь в нем нетрудно угадать современника Шиллера: он предвосхищает романтические претензии к Свифту.

{113} Однако в том же английском XVIII в. мы найдем двух ценителей и последователей Свифта, впрочем, слишком уж незаурядных и далеких от срединного типа своего времени. Это Генри Фильдинг и Лоренс Стерн.

Правда, Фильдинг сформировался как прозаик в эпоху владычества скриблерианцев и вступил в литературу сразу вслед за ними. Он был писателем иного толка: он переводил их всеобъемлющую сатиру из области памфлета и пародии на почву моралистической комедии нравов. Но ему и в голову не приходило отмежевываться от предшественников; напротив, он нередко подновлял их идеи для публики. (Так, по поводу свифтовского «скромного предложения» употреблять в пищу детей ирландских бедняков, Фильдинг сетовал, что английские детишки почти несъедобны: слишком уж их матери накачиваются джином, портя вкусовые качества потомства.) К тому же до начала 50-х гг. атака на тень декана еще не началась, и легкомысленное заявление Фильдинга, что Свифт был «одним из злейших врагов скуки во все века», прошло спокойно.

Подробнее всего Фильдинг упоминает о Свифте в своем последнем романе «Амелия» (1752), устами героя-резонера. «Критики нашего королевства, — говорит тот, — обычно признают доктора Свифта величайшим из всех писателей мастером насмешки. Я также вполне признаю за ним удивительнейшие способности этого рода: и если он учился у Рабле, то, по-моему, тут подтверждается известная греческая пословица, что ученик часто выше своего учителя... Соглашусь, что доктор иногда снисходил до подражания Рабле; однако не упомню, чтобы где-нибудь в его сочинениях я заметил малейшую попытку писать в духе Сервантеса».

Можно соглашаться или не соглашаться с фильдинговским капитаном Бутом: в «Путешествиях Гулливера», **{114}** например,

бробдингнежские пародийные приключения вызывают-таки в памяти Сервантеса ничуть не менее чем Рабле. Факт тот, что Фильдинг без всяких оговорок и отнюдь не полемически сопоставляет Свифта с величайшими сатириками и спокойно высказывает свои соображения на этот счет. Он явно полагал, что оговорки ни к чему.

В отличие от хулителей, которые напирали на невыносимую «безыдейность» Свифта, Фильдинг заводит речь о его писательской личности, но именно о личности, о месте Свифта в кругу великих, он скорее восхищенно созерцает стиль Свифта, чем вчитывается в его книги. Недоброжелатель (ранее покровитель) Лоренса Стерна епископ Уорбертон писал о нем: «Он принял Свифта за образец» Стерн и сам признавал Свифта учителем, но не без осторожности: шел 1759 г., и репутация декана была уже сильно подмочена. Автору «Тристрама Шенди» по выходе первого тома укоризненно заметили, что «нетрудно было избежать свифтовской грязи, с одной стороны, и раблезианской распущенности — с другой; и пойди он срединным путем, у него получилась бы не только весьма увлекательная, но также весьма поучительная и полезная книга». Стерн отшучивался: «Впредь буду осторожнее — но отрицаю, что заходил так далеко, как Свифт,— он следует на должном отдалении за Рабле — а я на должном отдалении за ним — Свифт наговорил сотню вещей, какие мне говорить возбраняется, — пока я не декан собора св. Патрика». Через два года то же самое звучит у него горше: «...путь к славе, как путь на небеса, — ведет сквозь многие испытания — и пока меня не удостоили таких гонений, как Рабле и Свифта, мне должно смиряться: ибо меня еще и вполовину так не преследовали».

Любопытно, что самые рьяные поклонники Стерна **{115}** (а число их прибывало и прибывало) совершенно не различали свифтовского подтекста в его творчестве. А между тем «Тристрам Шенди» и «Путешествия Гулливера» состоят в прямом родстве: книга Стерна — очередной опыт универсальной пародии, комического действа. Формой пародийного повествования, подстать иным временам, избран семейно-бытовой роман. «Жестоким негодованием» свифтовской сатиры в «Тристраме Шенди», разумеется, и не пахнет; но свифтовская сатира имела характерные качества и помимо «жестокого негодования». Недаром поначалу публика принялась хохотать над «Путешествиями», и отнюдь не потому, что Свифт кого-то удачно обличил.

«Путешествия» напитаны иронией с первой до последней строчки; иногда она вздымается фонтаном, чаще бьет ключом Это всевластие насмешки, и читатель начинает смеяться над всем на свете в тот самый момент, как берет книгу в руки. Если он к этому не готов — тем хуже для него, потому что укрыться от осмеяния в книге негде. Самые ее прямолинейно-обличительные пассажи — не без подвоха, сам ее рассказчик — истое посмешище. Проявлять «жестокое негодование» за чужой счет не позволено никому, ни читателю, ни Гулливеру. Критики и толкователи пополняют смеховой арсенал книги, причем сочувствующий критик смешон так же, как негодующий.

В этом весь секрет, а вернее сказать — полное отсутствие «секрета» книги (учтем при этом, что ее «расшифровывали», пытаясь отыскать для себя скрытую позицию неуязвимого насмешника, раз за разом и век за веком). Стоит только не выкручиваться, а признать себя достойным осмеяния — и целебное действие свифтовской сатиры, то язвительной и жестокой, то походящей на простую шутливость, не

замедлит сказаться. Нам просто надлежит вместе со Свифтом, Рабле, Эразмом, Мором **{116}** смеяться над собой — и становиться от этого смеха трезвее, мудрее и добрее. Это, разумеется, не содержание книги, но необходимое условие ее содержательного прочтения.

К вышеупомянутой веренице насмешников сам себя причисляет и Стерн. Смеялся он куда беззаботнее и заразительнее Свифта: «предавался шутовству», как выразился епископ Уорбертон; после смерти ему куда больше повезло с читателями. И все же этот английский пастор понял, подхватил и смягчил смех ирландского декана, а один такой продолжатель стоит многих поклонников.

Стерн был из тех, кто еще улавливал дух свифтовской иронии, но предсказание, что «Гулливер станет так же темен, как Гаргантюа», постепенно сбывалось. Оливер Голдсмит, любимейший и популярнейший писатель 60-70-х гг., читал «Путешествия» как нравоучительные побасенки и снисходительно замечал, что Свифт прославился «не столько величием своего гения, сколько смелостью оного». Примитивный натурализм незамысловатой повести Гулливера отпугивает, но что ж поделать! Свифт «просто описывал натуру как она есть, в противовес тогдашней моде видеть во всем лишь приятную сторону».

Однако в конечном счете английский XVIII в. обошелся с наследием непокладистого декана не так уж и худо. Опубликованы — на хорошем текстологическом уровне тех времен — несколько собраний сочинений; многократно переизданы томики «Смеси» — памфлетов Свифта, Попа и Арбетнота вперемешку; несчетным количеством отдельных изданий выходили «Путешествия Гулливера» в четырех частях (на родине проводились только первые опыты по части правки и усечения их текста). Наконец, после довольно бессвязной перепалки насчет личности и поведения Свифта он удостоился вполне серьезного **{117}** критического этюда в работе доктора Сэмюэля Джонсона «Жизни наиболее выдающихся английских поэтов» (1781).

Литературный авторитет доктора Джонсона — эрудита, критика, эссеиста, романиста, поэта и составителя первого толкового словаря английского языка — был в свое время почти непререкаем; его резкие проницательные суждения — нередко решающими для той или иной репутации. Свифта Джонсон терпеть не мог и, по мемуарным свидетельствам, никогда не упускал случая отозваться о нем с неприязнью. Любопытно, что во взглядах на политику, мораль и религию он мало расходился с деканом (и слыл невероятным эксцентриком); но это сходство, пожалуй, еще больше его бесило.

Доктор Джонсон был ученый литератор до мозга костей. Он чувствовал себя приставленным к английской словесности, ответственным за нее, и Свифт с его «безделками», масками и непроницаемой ясностью казался доктору Джонсону каким-то брезгливым и небрежничающим дилетантом. В отличие от мелких просветителей, он не протестовал от лица читателей, а мстил от лица литературы за свифтовскую иронию, неуместную в серьезных делах. Эту иронию он даже не признал за таковую, а объявил просто «недоработкой», самозащитой высокомерничающего декана от требований литературы.

«Путешествия Гулливера» доктор Джонсон в беседе назвал «чудовищными россказнями»; насчет йэху заметил, что «тот, кто измыслил такие образы, изрядно понаторел в мерзостях». В этюде о Свифте более сдержанно сказано: «Критики на время потерялись от

изумления: никакие правила суждения не подходили к книге, написанной в открытом противоречии с истиной и порядком вещей». Сам он склонен считать эту книгу изделием низшего сорта и ограничивается лишь информацией о читательском приеме: «Когда в книге разобрались, то **{118}** выяснилось, что меньше всего удовольствия доставляет описание летучего острова, а наибольшее отвращение вызывает, пожалуй, история Гуигнгнмов». О первых двух путешествиях Джонсон как-то обмолвился: «Стоило только подумать о маленьких и больших людях, и остальное не составляло труда».

В общем и целом доктор Джонсон постановил, что вчитываться в Свифта незачем и что его литературный талант (главным образом «легкое и точное выражение мыслей») хотя и бесспорен, но никчемен. «Дабы читать Свифта, не требуется предварительных познаний; достаточно быть знакомым с обычными словами и обычными вещами; читателю не придется ни преодолевать высоты, ни исследовать глубины».

И все же Джонсон судит о Свифте законченно, последовательно и по-своему добросовестно: это не ругань, а суждения. Особой проницательности в них нет; означают же они, что Свифт и свифтовская ирония становятся все более чужды и непонятны новому времени (кстати, Стерна Сэмюэль Джонсон тоже не жаловал; но Стерна приняли в объятия грядущие поколения романтиков).

История отдаления английской литературы от Свифта в XVIII в, завершается странным, но характерным эпизодом: «Путешествия Гулливера» были прочитаны как анархический манифест, как призыв к усовершенствованию на лошадиный манер и программа всеобщего благоустройства по примеру гуигнгнмов.

Дело о четвертом путешествии Гулливера, заведенное с момента публикации книги (еще виконт Болинброк полувсерьез «винил автора в злонамеренном умысле принизить человеческую натуру»), приняло теперь новый оборот. Обычно декана бранили за сгущение красок в образах отрицательных йэху и бледность образов положительных гуигнгнмов. Наконец нашелся человек, **{119}** который счел йэху жестоким, но прочувствованным укором, а гуигнгнмов — пророчеством о людях будущего.

Это был не простой человек, а знаменитейший в свое время Уильям Годвин, которого князь Петр Алексеевич Кропоткин провозгласил впоследствии отцом мирового анархизма, а Ф. Энгельс назвал «крупнейшим практическим философом новейшего времени» (Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии. — Цит. по кн.: Маркс К. и Энгельс Ф. Об искусстве. М., 1957, т. 1, с. 233.). Годвин сочинял романы, стихотворные трагедии, биографии, трактаты и проповеди, но прославился более всего своим «Исследованием касательно политической справедливости», опубликованным в 1793 г. В 1794 г. Годвин записал в дневнике: «Ни в городе, ни в деревне почти не было человека, который следил бы за современными изданиями и не слышал бы об «Исследовании касательно политической справедливости» или же не был знаком в большей или меньшей степени с содержанием этого труда. Я нигде не был чужим». «Ни один труд в наше время не дал такого толчка философской мысли страны, как прославленное «Исследование»...» — свидетельствует задним числом современник.

Именем Свифта и цитатами из четвертого путешествия Гулливера украшены все узловые места «Исследования». Гулливеровское поношение европейской цивилизации (в беседе с серым в яблоках

хозяином) вдохновляет обличительные пассажи Годвина; скудные сведения о быте и нравах «несравненных гуигнгнмов» развернуты у него в описание счастливого будущего человечества.

К 90-м гг. XVIII в., отчасти под влиянием революционных потрясений и перспектив соседней Франции, отчасти же силою внутренней логики своих идей, английское **{120}** Просвещение вступило в новую фазу. Абстрактно-гуманистическая вера в человека, не находя себе ни применения и оправдания в настоящем, ни подтверждения в прошлом, обратилась в будущее. Таким образом просветительский гуманизм стал почти неуязвим: ведь в прошлом можно заблудиться, настоящее может сбивать с толку; зато в будущем легко расположить любые мечты и реализовать с помощью воображения любые проекты.

В те времена философия — даже материалистическая — еще только начала избавляться от застарелой привычки объяснять мир, не особенно помышляя о его переделке Наука переделывала, но не прогнозировала. Рецепты на будущее надо было искать главным образом в художественной литературе и расхожей публицистике. Годвин перебрал несколько утопических образцов общества и остановился на четвертой части свифтовской сатиры.

Надо сказать, что «Путешествия Гулливера» были рассчитаны на такого толкователя: уклад жизни гуигнгнмов — совсем не простая пародия. Это шутка всерьез, как все шутки Свифта. Как он сам замечал, его дело не веселить читателей, а издеваться над ними, но издевался он по-особому. Он имитировал типовую логику людей нового времени, стиль их мысли и речи, механическую незыблемость их убеждений. Иногда почти задыхаясь от презрения, он предлагал им от лица либерала слегка погодить с упразднением христианства, от лица радетеля о народном благе — кушать ирландских младенцев; от лица капитана Гулливера — пасть ниц перед лошадиным образом и подобием.

{121}



Рано или поздно это должны были принять всерьез: уже многие современники Свифта шарахались от его шутливости, а позднейшие просветители т а к о г о юмора не понимали и понимать не желали.

Они соглашались смеяться — скорее, впрочем, улыбаться — только на своих условиях, и смешным писателем Свифта никто из них не назвал бы до поры, может быть, кому и смешно, что с точки зрения «разума и естества» правильнее всего живут лошади; но смешно только тому, кто сам на этой **{122}** точке зрения не стоит. В противном же случае читатель либо отмахивается от паясничающего декана, либо решает, что лошади помещены здесь для аллегории и художественной формы, а в остальном все достойно восхищения и подражания.

Именно так и решил Уильям Годвин. «Под именем гуигмнов (!) и йэху Свифт не более чем представил людей в двух разных видах, в их высшем совершенстве и низшем падении... и нет книги, которая сильнее бы дышала благородным негодованием против порока и пламенной любовью ко всему прекрасному и достойному в человеческом сердце». Настроившись таким образом, Годвин принялся изучать несколько страниц о лошадином жизнеустройстве как чертеж общества будущего. Он совершенно согласился с капитаном Гулливером, что гуигнгнмы суть норма и недосягаемый образец для человечества — но такой ли уж недосягаемый?

Буквально каждый тезис «Исследования касательно политической справедливости» подсказан четвертым путешествием Гулливера и вдохновлен верой в неизбежное торжество разума и добродетели. Гулливер пишет, что лошадиный разум — особого свойства: «не проблематическая инстанция, снабжающая с равной легкостью доводами за и против», а нечто вроде всеобщего электронного мозга, беспристрастно перерабатывающего информацию. Именно и только такой разум признает в правах Годвин. «Указания разума неотменимы и для всех одинаковы,—заявляет он. — Здравый рассудок и истина, будучи адекватно выражены, обязательно восторжествуют над заблуждением». Надо только обеспечить беспрепятственное и бесперебойное функционирование этого единогласного разума: т. е. надо, во-первых, выравнять по мерке каждый данный разум (выражаясь по-нынешнему, одинаково запрограммировать каждое мозговое устройство); **{123}** во-вторых, изгнать из употребления все и всяческие страсти.

Жизнь следует упростить до предела и сделать для всех одинаковой: тогда исчезнут различные искушения, и каждому станет слышен один и тот же голос разума. «Люди будут все больше и больше приближаться к единообразию суждений и поведения». Тем самым отпадет надобность в принудительных мерах и аппарате принуждения; отойдут в безвозвратное прошлое государственность и законность, столь справедливо заклейменные доктором Свифтом. Годвин восторженно возглашает:

«Такова идея автора «Путешествий Гулливера» (IV часть), человека, который явил более глубокое проникновение в истинные принципы политической справедливости, нежели любой предшествующий или современный автор. К несчастью, труд такой неоценимой мудрости в то время, когда был опубликован, не внушил человечеству потребных наставлений лишь ввиду игривости своей формы. Только потомство сумеет оценить его по заслугам».

Все в гуигнгнмах пленяло Годвина, все свидетельствовало о предусмотрительной размеренности их существования. Они, например, никак не отличают свое потомство от чужого — не все ли равно, кто произвел на свет ту или иную кобылку или жеребчика? Коневоды с этим, может, и не согласились бы, но моралист Годвин подхватывает:

«Не имеет значения, что я родитель ребенка, если раз навсегда установлено, что ребенок будет жить с большей пользой для себя под присмотром чужого человека». Им чужды половые излишества: по рождении двух жеребят обоего пола супружеские отношения прекращаются — к чему перенаселять страну? Шаг в шаг следуя за гуигнгнмами, Годвин предусматривает будущий контроль рождаемости путем **{124}** «систематического воздержания». Итак, никаких «частных пристрастий», в том числе, кстати, и благодарности, ибо она «не входит в состав справедливости и добродетели».

Управлять такими благоразумными существами проще простого: все они живут по общим правилам, если, же кто чего недодумает, его вразумят соседи, так как жизнь протекает под взаимным присмотром. Точно так же не предвидится и экономических сложностей — более всего потому, что «каждый человек будет иметь скромный, по здоровый рацион». («В дуплах деревьев, — пишет Гулливер, — я часто находил мед, который разводил водой или ел его со своим овсяным хлебом». «Иногда мне удавалось поймать в силки из волос йэху кролика или какую-нибудь птицу; иногда я находил съедобные травы, которые варил и ел в виде приправы к своим лепешкам, а изредка сбивал масло и пил сыворотку».) Подобно Гулливеру, предсказывает Годвин, каждый «будет доволен средствами к здоровому существованию»; и подобно гуигнгнмам, у которых физкультура в особом почете, каждый станет «скромно упражнять свои телесные функции так, чтобы это возвеселяло его дух».

Итак, четвероногие гуигнгнмы признаны людьми и переселены в лучезарное будущее; Годвин закрывал глаза на мизантропические причуды декана Свифта. Они его, правда, все-таки несколько тревожили: так, уже на склоне лет, он заклинал публику поверить, что король Бробдингнега ошибался, называя род человеческий «ползучей дрянью». Но если декан Свифт и ошибался со своим героем, то он все же подарил человечеству несравненные и немеркнущие образы гуигнгнмов.

Человечество, в лице Годвина, этот подарок приняло. О влиянии Свифта на Годвина речь велась редко и мало, но в свое время первый же анонимный рецензент «Исследования» ворчливо заметил, что тридцать шесть **{125}** шиллингов платить дорого за «свифтовские преувеличенные описания испорченности человека, пусть и приведенные в строгую систему с серьезным намерением упорядочить мир». Влияние Годвина на позднейших радикальных и утопических мыслителей трудно переоценить. Его наивность была преодолена, и его схема будущего использована в научных социально-экономических построениях. И под покровом более современной мысли часто можно различить годвиновскую основу, а наконец, всмотревшись, — и страницы первых изданий «Путешествий Гулливера».

Глава третья,

в которой
торжествует
острый галльский смысл

Судьба книги Свифта на европейском континенте в XVIII в. была шумной и забавной, но менее содержательной, чем в Англии. Начинается она с публикации в 1727 г. в Париже перевода «Путешествий».

Это был уже второй перевод: первый вышел парою месяцев раньше в Гааге, но огласки не получил и затерялся в потоке макулатуры на французском языке, поступавшей тогда из Голландии. Сделан он был молниеносно, — очевидно, безвестными литературными поденщиками за копеечную оплату. Перевод был кондовый, но добросовестный.

На скромное голландское изделие не обратили внимания, что и не удивительно. Его переиздали несколько раз в той же Гааге, впоследствии даже с присовокуплением «третьей части», т. е. злосчастной «Истории севарамбов» Вераса д'Але, переведенной с английского обратно на французский (идея и создание нескольких **{126}** «третьих частей», как мы помним, делают честь английской изобретательности).

Завоз культурных ценностей из Англии в Европу велся через Париж, и в Париже немедля забеспокоились об очередном шедевре знаменитого мсье Свифта. Имя говорило само за себя (к тому же недавно была опубликована по-французски «Сказка бочки»), но за эту книгу декана особенно хлопотал и особенно ручался в письмах из Лондона молодой поэт и драматург Франсуа Мари Аруэ Вольтер.

Хотя Вольтер и пребывал уже несколько лет в английском изгнании, но связи его в самом высшем свете не ослабели, и поручительство его было очень веским. При его посредстве и появились в Париже первые экземпляры свежеопубликованных «Путешествий». Здешний изгнанник, бывший друг и соратник Свифта епископ Этербери, долго охотился за новинкой с родины. Раздобыв ее, наконец, и прочтя, он написал в Англию в конце марта 1727 г.: «...обе части теперь переводятся здесь, хотя эта вещь со своим юмором французам должна быть и не по вкусу, и не по уму».

Судьба устроила так, что книгой Свифта в числе первых разжился самый пронырливый и вездесущий из литераторов тогдашней Франции, аббат Пьер-Франсуа Гюйо Дефонтен. Английского языка он, правда, почти не знал, по решил как раз и подучиться ему за переводом этой новомодной книжонки, столь бурно рекомендованной мсье Вольтером из лондонской дали.

Англомания вообще царила во французских вкусах: сыны просвещенной Франции со снисходительной легкостью забавлялись чужим языком, словесностью и манерами. Один из тогдашних мэтров, будущий корреспондент большинства коронованных особ Европы, барон Гримм замечал: «трехмесячных уроков с **{127}** преподавателем языка достанет, чтобы наши молодые люди сделались в состоянии переводить английские произведения».

Аббат Дефонтен, надо думать, даже переусердствовал в своих занятиях английским. Да и что такого может написать какой-то там английский декан, чего бы француз не знал заранее? Другое дело, что эти пресловутые «Путешествия» поначалу ему совершенно не понравились. «Прибытие Гулливера в империю лиллипутов, описание этой страны и ее жителей менее шести пядей росту, обстоятельства и детали их чувств и поведения по отношению к иностранцу, который был для них гигантом, — все это показалось мне холодновато и посредственного достоинства и заставило меня опасаться, что все произведение будет в том же роде». Так Дефонтен признавался впоследствии в пространнейшем предисловии к своему переводу. По счастью, его первое впечатление было несколько поспешным: в книге все-таки нашлись «вещи забавные и рассудительные, добросовестная изобретательность, иногда тонкая ирония и приятные аллегории».

Но поработать ему пришлось изрядно. При некоторых своих достоинствах книга ирландского декана была полна «местами, которые, будучи переведены на французский язык буквально, показались бы непристойными, прискорбными, непозволительными; которые возмутили бы хороший вкус, царящий во Франции, смущали бы меня самого и непременно вызвали бы заслуженные упреки по моему адресу, будь я столь слабодушен и столь неосторожен, чтобы представить взору публики... непроницаемые иносказания, пресные намеки, мальчишеские выходки, тривиальные рассуждения, низкие мысли, скучные повторы, скабрезные грубости, пошлые шутки...

Я заявляю, что счел своим долгом изгнать их из текста целиком и полностью. Если что-нибудь в этом духе и **{128}** осталось в моем переводе, то я заклинаю публику вспомнить, что переводчику столь естественно дать себе волю и быть чересчур терпимым к своему автору. В остальном же я полагал себя способным восполнить эти дефекты и заполнить эти пропуски с помощью своего воображения, а также придавая неприятным для меня местам иной оборот. Я сказал достаточно, чтобы дать читателю представление о моем переводе». Не преувеличив, можно заключить вместе с аббатом, что «перевод имеет некоторые достоинства, отсутствующие в оригинале».

Эта длинная цитата призвана здесь не только представить французский национальный характер раннего Просвещения, но и служить образцом слога прыткого аббата. Таким самым слогом «Путешествия Гулливера» и были воспроизведены на французском языке. Получился приятный нравоучительный трактат по мотивам записок английского мореплавателя. Если считать, что это перевод, то налицо оскорбление действием переводимого автора. Да и зачем же умалять заслуги аббата Дефонтена? В своем сочинении он не обязан Свифту почти ничем, кроме имен и названий. Примерно половина свифтовского текста оставлена без внимания — как такового не заслуживающая — и заменена (для сохранения объема книги) уместными и душеполезными тирадами Пьера-Франсуа Гюйо Дефонтена.

Остальное переписано так, что от тусклого языка и убогих мыслей «оригинала» не осталось ничего; впрочем, нет — во втором путешествии, в VI главе имеются две страницы издевательств над английским государственным строем. Они воспроизведены по-французски близко к тексту, хотя звучат на этом изящном языке куда грациозней. Это, пожалуй, единственный в книге Дефонтена пример некоторого соответствия английскому подлиннику; видимо, аббат уловил здесь **{129}** иронию насчет Англии и решил ее сохранить.

Когда же Гулливер по невниманию или небрежности необъективно забывает воздать хвалу прекрасной Франции, то ни о какой дословности не может быть и речи. Англичанин, например, пишет (IV путешествие, V глава): «...я рассказал ему о революции при участии принца Оранского; о долгой войне с Францией, которую начал этот государь и возобновила его преемница, нынешняя королева». Француз редактирует: «Я поведал ему о последней революции, произведенной в Англии вторжением принца Оранского, и о войне, которую этот честолюбивый принц затеял потом с королем Франции, самым могущественным монархом в Европе, обладателем всех царственных добродетелей, слава которого распространилась по всей вселенной. Я прибавил, что эту войну, увы, продолжала королева Анна».

Воистину творческое редактирование бесцветной гулливеровской фразы! Мало того, что она пышно расцвела под французским пером; она получила прямо обратный смысл. У Свифта имеется в виду, что европейские йэху склонны к бессмысленной и кровавой грызне; у Дефонтена — что порочный узурпатор английского престола агрессивно напал на добродетельную Францию. И это еще не все: изменился едва ли не смысл всего путешествия; во всяком случае, всей беседы Гулливера и серо-пегого гуигнгнма. Ведь беседа ведется на лошадином языке, а на нем не скажешь т о, ч е г о н е т; если же Гулливер не затрудняется с прославлением Людовика XIV, то на этом языке, оказывается, можно врать напропалую не хуже, чем на любом другом. Значит, лошади вовсе не гуигнгнмы, а люди под лошадиными шкурами (бывает — в волшебных сказках). Стало быть, Гулливеру не с чего впадать в мизантропию: мсье Лемюэль в нее, кстати, и не впадает, ибо последние страницы книги **{130}** Свифта не заслужили ни перевода, ни пересказа на французском.

Случаи перевода фразы или абзаца с обратным смыслом встречаются через каждые две-три страницы; но это, по-видимому, скорее небрежности, чем правка (если только не считать небрежность способом правки). Заметим лишь, что аббат все-таки более или менее учитывает ход и последовательность узловых событий в гулливеровских записках; но так как внешние сюжетные связи между событиями в каждом из четырех путешествий крайне ослаблены у самого Свифта, то и тут открыт большой простор для творческого редактирования. Словом, при желании сочинение Дефонтена можно называть разве вольным пересказом «Путешествий Гулливера».

Однако же именно дефонтеновский «Гулливер» составил репутацию Свифта во Франции на полтора с лишним века — репутацию затейливого моралиста.

Перевод Дефонтена жестоко раскритиковали сразу по выходе книги. Попреки не стихли и через десять лет: в 1737 г. в трактате «Размышление... о вкусе в переводах» писалось: «...переводчик «Путешествий Гулливера» счел своим долгом усластить их на свой манер. Он совершенно их изуродовал, так что там и следа не осталось от изобретательности, неповторимости и оригинальности доктора Свифта. Недаром англичане полагают, что этот мнимый перевод сделан человеком, совсем не знающим их языка...»

Но этот приговор специалистов взволновал разве лишь самого Дефонтена, который высокомерно отругивался. Публика же, по своему обыкновению, не прислушивалась к литературным сварам, а упоенно поглощала выброшенную на рынок забавную и полезную книжицу. Полторы тысячи экземпляров первого издания **{131}** разошлись за месяц; второе было подготовлено незамедлительно. Текст не изменился, сохранились даже опечатки.

Французская пресса захлебывалась: «Необыкновенный успех... чистота и безграничная живость стиля... в стране гуигнгнмов — вот где автор на сотни приятнейших ладов развивает мораль равно тонкую и возвышенную... В этом последнем путешествии нет ни черточки, что не была бы яркой и прекрасной... Эта книга есть произведение не только забавное, но и весьма полезное... Надо ли удивляться заслуженному и всестороннему одобрению публики?»

Какая уж тут мизантропия! Скорее занимательные прописи благонравия. «Не сюжетная часть этого произведения заслуживает главного внимания читателя.

Ее надо считать всего лишь искусным изобретением, способным усладить для нас те основательные и важные правила, которые таким образом утверждаются и которые явно были единственной целью автора... Его философские размышления, его нравственные предписания, его политические максимы, его возвышенные идеи о чести, чистоте и более всего о гражданских обязанностях, хвалы, которые он воздает добродетели, ужас, который внушает ему всякий порок...» и т. д.

На всем протяжении столетия не смолкали восторги перед благонравием священнослужителя из далекой Ирландии. Критики сыпали цитатами, как на грех выбирая исключительно вставные пассажи Дефонтена, не имеющие даже самого отдаленного касательства к оригиналу. Резонно, впрочем, что в дефонтеновском произведении выбираются — для одобрения или порицания — самые дефонтеновские места. Обычное чутье не подводит французских критиков; странно лишь видеть, как склоняется имя Свифта в таком неподобающем ему высоконравственном контексте.

{132} Так и шло: Дефонтена именовали Свифтом и ругали за то же, за что хвалили. Корреспондентка Вольтера и Монтескье, хозяйка блистательного литературного салона маркиза Дюдеван писала в Англию: «Я попробовала было перечесть уже давно прочитанного Гулливера, которого мне преподнес сам переводчик, аббат Дефонтен. Ничего противнее, кажется, и на свете не бывает. Его беседы с лошадьми — измышление самое натянутое, самое холодное и самое нудное, какое только можно себе представить».

Но это было нетипичное мнение. Претензии специалистов и снобов к переводу вконец забылись уже к середине века, и в 1773 г. об очередном издании книги сообщается в следующих выражениях: «Оригинальная и неистощимая выдумка, пикантная ирония, тонкие намеки... прекрасная нравственная философия — вот чем отличаются, господа, эти «Путешествия Гулливера», бессмертное творение доктора Свифта... Имя автора, равно как имя его переводчика, но более всего достоинства самой книги обещают ей неиссякаемый успех: я почти не знаю более приятного чтения. Я уже читал эти «Путешествия» три или четыре раза, и с новым удовольствием перечел их в этом издании...»

Аббат Дефонтен, скромный труженик, одержал в потомстве верх над своими зоилами: «Его перевод имел такой же успех, как и само произведение; он дал нам возможность не хуже англичан распознать суть критики, морали и философии, которые у доктора Свифта облачены в самую причудливую из всех выдумок». Это уже пишет даже не критик, а издатель упоминавшейся серии «Воображаемых путешествий» («Путешествия Гулливера» вышли ее четырнадцатым томом). Он не блещет остротой, а просто повторяет общие места.

Компатриоты Свифта, которые в те же годы **{133}** отводили ему видное место в аду, могли бы весьма подивиться такой снисходительности французов, обычно стоявших на страже нравственности и гуманности. Но факт тот, что по одну сторону Ламанша тень декана председательствовала в пекле, по другую — витала в сонме небожителей. Дефонтен заслонил для французов Свифта, а «Путешествия Гулливера» — прочие книги декана. Переводить книгу заново никому не приходило в голову. Даже гаагский издатель Жан Сварт, выпустив четыре переиздания вышеописанного анонимного перевода, к 70-м гг. смирился и принялся публиковать того же Дефонтена. В новых его изданиях, впрочем, были прежние гравюры и, как прежде, «История

севарамбов» в качестве третьего тома «Путешествий Гулливера». С XVIII по XX в. дефонтеновский перевод был издан целиком и в сокращениях около двухсот раз.

Так и сложился на долгое время литературный облик Свифта во Франции, доброго наставника и мудрого сказочника. («Путешествия Гулливера» чаще всего упоминались по разряду волшебных сказок с нравственным оттенком.) Этому ничуть не помешали замечания Вольтера о Свифте (главным образом, в 22-м из его «Философических писем», но также и еще кое-где в его обширной и знаменитой корреспонденции).

Еще в 1728 г. Вольтер жалуется на непереводимость английского остроумия: «... и вот почему во Франции никогда не поймут по-настоящему книги хитроумного доктора Свифта, которого называют английским Рабле. Он имеет честь быть священником, подобно Рабле, и так же насмехается над всем, но, по моему скромному разумению, именуют его так весьма ошибочно...» Следует поношение Рабле, и Вольтер заключает: «Мсье Свифт — это Рабле в здравом уме и к тому же хорошо воспитанный; правда, он не так весел, но зато в нем есть вся та **{134}** тонкость, ум, чутье и хороший вкус, которых так недостает нашему медонскому кюре». С годами Вольтер стал снисходительнее к своему буйному соотечественнику, н то же сравнение через тридцать лет кончается фразой:

«Свифт был не так мудр, как Рабле, но его остроумие тоньше и изящнее: это Рабле для хорошего общества». (Кстати, буквально то, что сказано у него в поношение Рабле — «есть личности странного вкуса, которые хвалятся, будто понимают и ценят все произведение; остальные смеются остротам Рабле, а книгу презирают» — твердили впоследствии английские критики об интересующей нас книге Свифта.)

В двух письмах 1727 г. он сначала решительно посоветовал, затем решительно отсоветовал своему другу переводить «Путешествия Гулливера» на французский язык. В первом письме читаем: «Он английский Рабле, говорю вам; но в его произведениях нет и примеси раблезианской чепухи; эта же книга, преисполненная живого воображения, занимательна и сама по себе и поражает легкостью письма и т. д.; вдобавок это еще и сатира на род человеческий». Заглянем во второе: «В последних путешествиях мсье Гулливер становится утомителен... Эта нескончаемая серия все новых и новых трюков, нелепостей и побасенок наконец набивает оскомину. Ничто неестественное не может нравиться долго...» Как мы видим, в принципе даже и Вольтер был не против того, что книгу Свифта следует почистить. Вольтер, разумеется, читал Свифта в подлиннике, особенно внимательно — «Сказку бочки», которая очень пригодилась ему в походе против религии. В его суждениях чувствуются намеки на личное знакомство со Свифтом.

Мы имеем дело со знатоком; но при всем том слова Вольтера вполне созвучны впечатлениям французских **{135}** читателей от дефонтеновского «Гулливера». В другом письме находим у него даже дежурный оборот континентальных оценщиков Свифта: декан «развлекает и наставляет». Правда, у Вольтера добавлено «смеясь над родом человеческим». Но и это в некотором смысле можно увязать с общими местами французской критики; понятно, в каком смысле, если прочесть явно вдохновленную Свифтом философскую повесть Вольтера «Микромегас».

Герой ее, великан с планеты системы Сириуса, в 120 тыс. футов ростом и о 72 чувствах, разглядывает человечество в микроскоп: не то Гулливер в Лиллипутии, не то король бробдингнежский с Гулливером на ладони. Крохотные размеры землян вызывают у Микромегаса крайнее умиление благочестиво-пантеистического свойства: «О незримые насекомые, которых руке творца благоугодно было породить в бездне бесконечно малого!.. Я никого не презираю и предлагаю вам свое покровительство». Даже ознакомившись ближе с вопиющими Земными неустройствами и человеческим тщеславием, он чувствует лишь сострадание к «маленькому роду человеческому». Отсюда, скажем прямо, далеко до мизантропии лошадиной страны или приговора бробдингнежского короля о «гаденышах».

И все же Вольтер явно считал своего «Микромсгаса» этюдом в свифтовском духе и даже игриво упомянул бесцеремонного доктора по ходу дела. Странным образом весь «черный юмор» «Путешествий», столь огорчавший английских критиков, прошел для Вольтера незамеченным. Раблезианство декана представляется ему безобидным, как щекотка. Можно сделать вывод, что каждый читает в книге — тем более в такой универсальной книге, как «Путешествия», — то, что ему хочется прочесть. Так стоит ли укорять Дефонтена, что он помог **{136}** французам спокойно читать Свифта так, как им того хотелось? Тем более, что своим успехом книга Дефонтена была все-таки несколько обязана Свифту. Когда аббат через два года изготовил уже вполне собственного «Нового Гулливера, или Путешествия Жана Гулливера, сына капитана Гулливера», то публика приняла его всего лишь с холодной благосклонностью. Напрасно автор лукаво упреждал на титульном листе, будто и этот его труд — не более чем «перевод с английского манускрипта». «Новый Гулливер», казалось бы, по всем статьям превосходил старого — тут не было ни пошлых шуток, ни гадких намеков, ни мальчишеских выходок, ни непонятных аллегорий.

Аллегории все были до мелочей растолкованы в элегантном предисловии: так, например, публика уведомлялась, что «гротескный образ народа, подчиненного императору Доссогробоску, дает нам понять, что красота и уродство... суть качества чисто относительные», а «письмо доктора Феррюжине, обнаруживающееся к концу четвертой части, поможет придать вид правдоподобия некоторым вещам, каковые покажутся необычайными...» Явные изъяны прежнего Гулливера были восполнены на радость читателям. «Они желали романа согласно правилам, а находили лишь ряд аллегорических путешествий без единого любовного приключения», — сочувствует «переводчик» и обещает, что здесь кое-что найдется и на этот вкус. Еще бы: в первой же стране Жана Гулливера встречают возгласами: «са бала куру куку», что означает «о, сколь красив этот незнакомец!» На его добродетель немедля покушается сама королева амазонок... Здесь имеются страстные речи, нежные соблазны, похищения, преследования, кровопролитные бои, экзотические нравы, добродетельные дикари, — словом, все, что угодно для души.

{137} Критики в общем одобрили «Нового Гулливера». Некоторые привередничали: им почему-то не хватало здесь злоречивой остроты и мелочной обстоятельности прежних путешествий. Публика полюбопытствовала, о чем повествует сын столь знаменитого отца, прочла это сочинение с большой пользой для себя и забыла о нем через несколько месяцев.

Стало быть, в первой книге имелось что-то помимо дефонтеновских красот стиля. Это было блюдо как раз на французский вкус: пресная жвачка пошлых нравоучений, приправленная острым и ядовитым свифтовским вымыслом, разбавленным, но не утратившим действия. Убийственное большей частью было сделано забавным: французам представили не самое свифтовскую сатиру, а лишь ее чучело, но чучело предиковинное. С таким чучелом можно было забавляться до упаду.

Двор ахнул от восторга и предписал всеобщую моду на Гулливера. Главный романист и драматург мсье Мариво получил указание быстро состряпать что-нибудь веселенькое в гулливеровском духе. Уже в сентябре 1727 г. его пьеска в трех актах с прологом «Маленькие люди, или Остров Разума» ставилась в театре «Комеди франсез». В прологе маркиз, шевалье и виконтесса предвкушали, что последует «видимо, что-то вроде Гюлливера», но предвкушали напрасно. Следуют беседы восьми потерпевших кораблекрушение моряков с гигантскими обитателями «острова Разума». Впрочем, гигантов играли обыкновенные актеры, и по ходу пьесы выяснялось, что «маленьким» следует считать того, кто ведет себя неразумно; а посему надо избегать глупого кокетства, пустого тщеславия и излишнего самомнения. Пьеска успеха не имела и прошла всего четыре раза.

Соперники «Комеди франсез» — труппа «Комеди итальен»— представила одноактную комедию **{138}** «Остров Глупости», где вышучивались мсье Мариво, сэр Гулливер и некоторые излишества гулливеровской моды.

Мода продержалась на редкость долго. Свидетельство о ней находим уже в 1748 г. в игривом (и не лучшем) романе Дидро «Нескромные сокровища». Здесь Гулливер привлекается как переводчик с лошадиного языка: «...этот англичанин, который так долго прожил на острове, где лошади имеют свое правительство, законы, королей, богов, жрецов, религию, храмы и тому подобное; который, по-видимому, так прекрасно изучил их нравы и обычаи, должен также прекрасно знать их язык». Гулливер не обманул ожиданий султана Мангополя, героя романа; но заметим попутно, что в стране гуигнгнмов нет буквально ничего из вышеперечисленного. «Путешествия Гулливера» постигла участь многих знаменитых книг, из которых все кое-что припоминают и никто не помнит ничего толком. Дидро, во всяком случае, не помнил уже через двадцать лет после первой публикации «Путешествий», а будучи в это время тридцати пяти лет от роду, он на память не жаловался.

Кстати, надо отдать справедливость французам: неподдельное звучание языков новооткрытых стран (которые Дефонтен воспроизвел полно и лишь с немногими искажениями) они заметили и оценили по достоинству.

Из увлечения Гулливером во Франции XVIII в. произошло несметное количество «воображаемых путешествий», почти каждое из которых критика упрекала за «дурное подражание Гюлливеру несравненного Свифта», «Путешествия Гулливера», переписанные Дефонтеном, заняли в читательском сознании французов место наиза-бавнейшего произведения в ряду его последующих имитаций. Доктора Свифта припоминали как особенно оригинального автора из области развлекательной беллетристики, шутника и выдумщика — местами грубоватого, **{139}** но зато безукоризненно нравственного. Оценка во многом случайная, но вместе с тем простая и удобная.

Предваряя события, заметим, однако, что уже в 1838 г. во Франции был опубликован новый, куда более удовлетворительный перевод «Путешествий Гулливера» с лучшими, на наш взгляд, — во всяком случае, каноническими — гравюрами Жана Гранвиля, знакомыми русскому читателю по большинству изданий, от академических до детских. Художнику удалось уловить жестокую и суховатую насмешливость подлинника, почти утраченную в дефонтеновском пересказе. И все же этот перевод отнюдь не вытеснил дефонтеновского из читательского обращения. Вообще во Франции издавали и переделывали «Путешествия» чаще, чем на родине Свифта, а иллюстрировали гораздо удачнее. Что же касается французской критики, то тут Свифту пришлось подождать до XX в.; зато такие исследования недавнего времени, как работы Эмиля Понса, по праву входят в «золотой фонд» свифтоведения.

Глава четвертая,
в которой
преобладает
сумрачный германский гений

Взоры немцев, особенно в начале XVIII в., были обращены к источнику мод и вкусов — Франции. Оттуда и дошли слухи о парижском успехе новой книги «знаменитого доктора Свифта». Немецкие критики знакомились с «Путешествиями Гулливера» в дефонтеновском парижском варианте; в то же самое время в Гамбурге поспешно готовили немецкий перевод. Он вышел в 1727 г. в двух томах. На титульном листе первого тома сообщалось, **{140}** что путешествия в Лиллипутию и Бробдингпег «ввиду их прелести и необычайности переведены с английского на немецкий язык с прилежанием». Третье и четвертое путешествия также претендовали на «прилежание», но уже «ввиду заключенного в них своеобычного учения о государстве и нравах». К 1728 г. прилежание переводчика распространилось на «третью и последнюю» часть замечательной книги — второе путешествие в Бробдингнег, а также в Спорунду, Севарамбию, Монатамию и т. д. Тут прилежание имело место «ввиду прелести, необычайности и связи этих путешествий с предыдущими».

О публикации этого прилежного перевода было объявлено в периодической печати, причем сообщалось также, что «английский сочинитель остроумен, любит благонравие и склонен облекать всяческие тайны в форму загадочных иносказаний, каковые невозможно читать без сугубого удовольствия». «К немецкому переводу, помимо предисловия, приложено стихотворение, в коем кратко разобрано то да сё касательно происшествий политических. Кроме того, переводчик посвятил свой труд одному саксонскому дворянину, герру фон Курбаху как особому знатоку немецкого языка».

Приложенное стихотворение было первым опытом нравоучительного пересказа «Путешествий Гулливера» для детей и юношества; славное же имя герра фон Курбаха заслоняло тот малозначительный факт, что переводчик усердствовал не над оригиналом, а над французским (гаагским) переводом книги. Об этом ремесленно-добросовестном переводе, выполненном студентами-поденщиками, говорилось выше; здесь надо прибавить, что ошибки и

сокращения в этом французском тексте все-таки имелись в достатке, и все они, пополнившись новыми, перекочевали теперь в немецкий перевод.

Тем временем гамбургские критики успели прочесть **{141}** во французском оригинале творение аббата Дефонтена и поспешили воспеть своими словами благонамеренного декана Свифта. «Его философские мысли, его нравственное учение, его политические максимы, его возвышенные понятия о чести, честности и всех гражданских обязанностях, хвалы, которые он возносит добродетели, отвращение, выказываемое им ко всем порокам, ядовитые насмешки, которые он рассыпает при виде многих отдельных ошибок, — все это забавнейшим образом поднесено и перемешано со смешными происшествиями... В последнем путешествии, несомненно, содержится более всего критики, нравоучений и добродетельных советов, так что величайшим мудрецам мира есть здесь чему поучиться».

Вряд ли данный критик восторгался бы так, прочти он более или менее близкий к тексту перевод «Путешествий». Можно, конечно, предположить, что он прочитал немецкий текст сквозь розовые очки парижской прессы и ошибочно переадресовал Свифту похвалы, причитающиеся французскому аббату за творческую переработку оригинала. Это, впрочем, сомнительно, тем более, что о качестве немецкого перевода у рецензента речи нет, а ознакомиться с новинкой на французском было куда изысканнее.

Но возражений на эту лестную рецензию не последовало: если рецензенты редко обращают внимание на обозреваемые книги, то читатели еще реже обращают внимание на рецензентов. Тот же немецкий перевод с того же французского вышел вторично в 1731 г. и третий раз — в 1739 г.

Лет на двадцать пять Германии, как и Франции, хватило этих изданий. За эти двадцать пять лет у Свифта появились немецкие поклонники, которые не остановились перед основательным изучением английского языка **{142}** и сочинений декана в оригинале. Самым упорным и трудолюбивым знатоком Свифта оказался дьякон из Цюриха Иоганн Генрих Вазер. Он-то и перевел с английского и снабдил комментариями восемь томов цюрихского собрания сочинений Свифта, опубликованных в 1756 — 1766 гг. «Путешествия Гулливера» заняли пятый том и вышли в 1761 г. Через год потребовалась перепечатка этого тома.

К тому времени в Германии развелись не только поклонники, но и ученики Свифта. Немцы ознакомились со свифтовскими сочинениями ближе, пристальнее и полнее, нежели французы. Для них он вышел из образа хитроумного сказочника и получил более ему свойственный на деле характер добродетельного, хотя и мрачного насмешника, первостатейного ирониста эпохи. Поэтому, усмотрев у отечественного сочинителя иронию, критики кивали головами и указывали: вот он, наш немецкий Свифт!

Многие сожалели, что немецкому читателю не всегда понятно, кого именно осмеивает декан там или сям. Заметим в скобках, что в таком восприятии сатира приравнивается не то к фельетону, не то к пасквилю, и «понимать» ее — значит радоваться, как ловко данный сатирик бичует некую конкретную личность или некий конкретный дефект. Тут уместно припомнить цитированные выше слова Свифта, что «автор, который имеет в виду один город, одну провинцию, одно царство или даже один век, вообще не заслуживает перевода, равно как и прочтения».

Но так или иначе, а немцы в XVIII в. благоволили Свифту, размышляли о нем, читали его, переводили и комментировали. Некоторые тогдашние германские издания «Путешествий Гулливера» были снабжены даже сочувственными замечаниями переводчика (типа «Вот **{143}** именно», «Ай-яй-яй», «Смотрите-ка», «Я знавал один буквально аналогичный случай» и т. д.).

Бывало, правда, что иной немецкий литератор похвалит-похвалит, да и призадумается: а позволителен ли вообще такой негуманный подход к человеку, как у доктора Свифта? Подобные размышления сильно участились после появления вышеописанной книги лорда Оррери о том, как великий декан злоупотребил своей жизнью и творчеством. Книгу сразу же перевели на немецкий, и уже через год некто Альберт фон Халлер писал в «Геттингенских ученых записках»: «Что же серьезного, хорошего и полезного написал Свифт в своей жизни? Его сатира была карикатурной, его образы зачастую грубы и непристойны, и во всех его творениях царит дух недоброжелательства по отношению к своей стране и своему времени: дух, достойный всяческого порицания. Ибо мы должны любить людей и ими воздвигнутые государственные установления; любить, несмотря на их недостатки: иначе мы вообще не сможем их любить».

Свифт же, по Халлеру, явно не любил ни того, ни другого: поэтому его злоречие, особенно в третьем и четвертом путешествиях Гулливера, не служит интересам человечества. «Его сатира на математиков, на ученых естествоиспытателей и на обновителей искусства излишне резка и несправедлива... Так же несправедлива его холодная и грязная сатира о гунигмах(!), из которой нимало не видно, чем же эти разумные лошади занимают свой ум». Последнее замечание не лишено смысла: лошади, действительно, как в Европе, так и в стране гуигнгнмов не заполняют свой ум ни философией, ни теологией, ни метафизикой, ни даже метаматематикой. Поэтому-то они и разумны.

Если же такая лошадиная разумность кого-то не устраивает — тем лучше для него: ему, стало быть, незачем отрекаться от рода **{144}** человеческого вместе с Гулливером; зато стоит, вместе со Свифтом, поразмыслить над человеческой неразумностью.

И все же фон Халлер бранится не без почтения. Он, например, сравнивает Свифта с Рабле к большой невыгоде последнего. «Рабле часто ставят рядом со Свифтом. Разница бесконечная: у Свифта есть план, намерение, богатое воображение и правдоподобие; а трюки Рабле часто походят на выходки сумасшедшего». Заметим, кстати, что умение понимать и ценить Рабле может служить мерой осмысленности суждений о Свифте. Случалось, конечно, что любители Рабле были холодны к Свифту; но уж если о Свифте высказывался кто-нибудь из хулителей «Гаргантюа и Пантагрюэля», это была либо несусветная чушь, либо расхожая пошлость.

Но вернемся к цюрихскому (сдублированному в Гамбурге и Лейпциге) восьмитомнику Свифта в переводе дьякона Вазера. Перевод этот отнюдь не идеальный, с приглаживанием, прикрашиванием и выпусками; и все же работа была произведена нешуточная. Немецкому читателю дали, наконец, в руки Свифта — слегка подпорченного и подправленного, но все же именно Свифта, а не «прилежный» сколок с плохого французского перевода, и притом Свифта в немалом количестве. Следующее немецкое собрание сочинений Свифта готовилось на основе вазеровского; отдельные издания тоже были редакцией его переводов.

Вазера, разумеется, тут же признали очередным немецким Свифтом, тем более, что он и сам писывал в ироническом роде. Один из поклонников его таланта, однако, счел нужным оговорить в стихах, что хотя «Вазер смеялся со свифтовской и лукиановской миною Момуса, но сердцем он был мудр и добр, как Аддисон».

Свифтовская «едкая мизантропия» Вазера огорчала, но он считал декана превеликим наставником в **{145}** добродетели и как такового брал под защиту. Перевод «Путешествий Гулливера» имел предисловие в форме письма. Обращаясь к герру***, переводчик восклицал: «Бедный Гулливер! Считают, что он принизил человеческую натуру, потому что он представил ее в испорченном виде! А разве он не возвеличил ту же самую натуру в образе своих гуигнгнмов? Благородные взгляды, добродетельные наклонности и прочее из того, что им приписывается,— звериные это или же человеческие качества? Не вывел ли он ту самую человеческую натуру под видом гунгнгпмов и не показал ли для контраста, как люди, по причине своих наклонностей, не могут справиться со слепыми страстями?»

Чтобы сделать эти благие намерения Свифта еще более очевидными, Вазеру и пришлось кое-что выкинуть и сократить, особенно в четвертом путешествии, где «наставник» то и дело сбивается на оскорбления. Впрочем, излишние упоминания о естественных потребностях и другие чересчур телесные пассажи были ликвидированы и в других трех частях.

Любопытно, что восьмитомник Вазера, может быть, именно благодаря своей основательности скорее отодвинул Свифта в ряд литературных достопримечательностей, чем привлек к нему читателей и подражателей. «Немецкие Свифты» постепенно исчезают со сцены; имя Свифта становится клеймом литературного качества («одно имя комического Свифта уже заставляет ожидать чего-нибудь забавного» — на ходу роняет рецензент), но читают его в Германии все меньше и все невнимательнее.

Хотя, как свидетельствует сподвижник Гёте, философ, историк и критик Иоганн Готфрид Гердер, «наш гений более склоняется в сторону Англии, и мы стремимся напитать французскую легкость английской крепостью», но «английской крепости» ищут не у Свифта, а у **{146}** Ричардсона, Юнга, Фильдинга, Стерна. С этими именами было связано возникавшее в 70—80-х гг. XVIII в. немецкое литературное движение «бури и натиска». Один из лидеров этого движения Иоганн Вольфганг Гёте, например, ознакомился с сочинениями Свифта в свои шестнадцать лет, в период усиленного изучения английского языка, помянул разок доктора в тогдашних своих английских стихотворных опытах и больше к нему не возвращался, при всем своем постоянном интересе к английской культуре.

Вообще титаны немецкого Просвещения были наслышаны о Свифте, но не имели поводов о нем вспоминать или перечитывать его. Они культивировали преклонение перед человеком, и жестокие остережения декана были явно не ко двору. Свифта вспоминали и перечитывали больше на окраине немецкой культуры, особенно в Швейцарии. В Цюрихе в 1788 г. и был подновлен вазеровский перевод «Путешествий Гулливера». Редактор вычищал из текста Вазера диалектные выражения и устарелые обороты. За несколько лет до этого копенгагенское издательство «Оле Хагебуд» додумалось, наконец, привести «Путешествия» в удобочитаемый вид:

были выкинуты три последние части, а первая свободно пересказана простым немецким языком.

Между тем в Геттингене объявился еще один, последний немецкий Свифт — профессор физики и астрономии и в придачу известный юморист Георг-Кристоф Лихтенберг. Он не преминул пожаловаться в одном из писем на свифтовскую «низко комическую манеру», которая «низводила его до грубейших гадостей». Бывало, однако, что он делал о Свифте и более точные замечания: например, что тот «довольно-таки часто разодевает детей своего воображения в странные наряды — так что их не отличить от шутов или канатных плясунов; только **{147}** вещи, бордюры и камни, о которых попутно идет речь, — всегда настоящие». «Бордюры и камни» пусть остаются на совести Лихтенберга; но в самом деле, главный свифтовский герой (не исключая Гулливера) почти всегда — шут гороховый. Это не удивительно: ведь Свифт копировал современников и предвосхищал некоторые характерные типы будущего.

Лихтенберг вообще то и дело выказывает знакомство со Свифтом, особенно с «Путешествиями Гулливера». Приятелей он называет «йэху», другу перед поездкой в Англию советует прочесть путешествие в Лиллипутию (именно и только в Лиллипутию) в оригинале. Он даже замыслил памфлет в гулливеровском роде, под длинным названием «Сентиментальное путешествие Лоренца Эшенгеймера в Лапуту; записки герра... Трулльруба, старейшины академии в Лагадо, касательно чувствительности при путешествии водным и сухопутным путем, а также при сидении дома. Перевел с верхнебальнибарбийского М. С.» (не Мартинус ли Скриблерус?)

Видимо, подразумевалась пародия на «Сентиментальное путешествие» Стерна, а заодно и на прозу «бури и натиска»; увы, она осталась в проекте. Написано лишь «предисловие переводчика», где сообщается, что «научный мир, как известно, давно и справедливо сожалеет, что знаменитый Лемюэль Гулливер во время своего пребывания на Лапуте в Лагадо не слишком старался установить более тесные связи между тамошней академией и какой-нибудь из европейских, хотя имел к тому немалую возможность». На дальнейших рассуждениях о сложности «перевода с верхнебальнибарбийского» случайно раздобытого «Вестника Лапутской академии» фрагмент обрывается.

Лихтенберг был в Германии чуть ли не единственным, кто в 70—80-х гг. XVIII в. вспоминал о Свифте.

{148} К самому концу века положение, однако, изменилось. Немцы почувствовали себя в ответе за культурное наследие столетия (французам, занятым в то время войнами, и англичанам, занятым французами, было не до того) и принялись подбивать итоги за всех, в том числе выпускать шесть томов прозаических произведений декана Свифта (1798).

Этого труда в суматохе наполеоновских войн почти никто не заметил. Но примерно в то же время Гердер авторитетно отчитывался за Свифта: тот, оказывается, «был человеком, достойным глубочайшего сожаления и высочайшего уважения; стал он самим собой лишь по несчастью: сложись его судьба удачнее, он стал бы гением мудрости и справедливости».

В своих «Письмах о поощрении гуманности» (1793— 1797) тот же Гердер заявлял, что «у Свифта человеконенавистничество было отнюдь не шутливой забавой, а искренней горечью».

Однако «его человеконенавистнический роман «Гулливер» написан, быть может, человеколюбивейшим из мыслителей, но больным, израненным и уставшим от собственных сородичей человеком». Может, это и слишком красиво выражено, но весьма не лишено смысла.

Гердера, как и вообще просветителей, более всего смущало путешествие к лошадям: он замечал, что оно «и с точки зрения чистого художества имеет свои недостатки. Хозяйство гуигнгнмов в разладе с их внешним обликом: самое их телесное строение не допускает подобного быта. Такие же противоречия встречаются в рассказе о Лапуте и академии в Лагадо... им недостает; внешней последовательности и гармоничности».

В целом гердеровский вердикт был положительным, Свифт, «больной духом и сердцем, видел перед собой лишь йеху, ибо иной породы существ он в своем **{149}** распоряжении не имел и не мог обрисовать разумное, чистое, справедливое общество (ибо ни на Луне, ни на Сатурне не бывал). Поэтому он и выбрал в пример тот животный образ, в котором сам Творец явил благородство замысла: образ коня... Но свифтовские кони — разумные и справедливые существа, какими и надлежит быть людям. Ему опостылело не назначение и не возвышенные качества... рода человеческого, но — как Гамлету — имя и облик человека-животного».

Это, во всяком случае, куда умнее, чем злобное фырканье соотечественников Свифта и восторженные мины французов. Правда, роль страждущего человеколюбца (более или менее действительная роль Свифта) разработана у Гердера по канонам чувствительности и разумности конца XVIII в.; но фальшь скорее в контексте, чем в определении.

Определение же было принято к сведению, и в 1804 г. опубликован новый, полный и по тем временам лучший перевод «Путешествий Гулливера» на немецкий язык. Он тут же вызвал решительный отпор. Видимо, не читавши или не понявши Гердера, рецензент писал: «Это сатира, которая представляет собой не плод свободного и смелого разума и доброжелательного, пусть даже угрюмого остроумия, а порождение черной злобы сердца, напоенного отравой, — не по отношению к каким-нибудь людям, а к человечеству вообще. Заслуживает ли она, при всех своих прочих достоинствах, которых никто не, оспаривает, но которые при нынешнем состоянии литературы вовсе не так отличают ее, как прежде, заслуживает ли она того, чтобы ее сызнова извлекали на свет божий?»

Так на заре XIX в. приветствовали полный перевод «Путешествий Гулливера» в самой доброжелательной тогда к Свифту стране.

{150}

Часть четвертая

МЕРТВАЯ ЗЫБЬ

Подобает ли находиться в одной комнате с *сочинениями этого священнослужителя?*
А. Биррелл. Эссе о мужчинах, женщинах и книгах. 1894.

Если мы пожелаем вслушаться в Свифта, то нас поразят у него предугаданные фрейдовские теоремы об анальном комплексе, сублимации и универсальном неврозе человечества.
Норман О. Браун. Экскрементальное прозрение, 1959.

Глава первая,

в которой
Лемюэля Гулливера объявляют людоедом
и назначают другом детей



Триумфальное шествие Гулливера по европейскому материку (Уже в XVIII в. «Путешествия Гулливера» были переведены не только на французский и немецкий, но также на голландский (1727), итальянский (1729), датский (1768), русский (1772), шведский (1772) и португальский (1793) языки.) постепенно сворачивало к **{151}** детской, попутно растрясая и обезвреживая текст книги. Одно из первых американских издании (Бостон, 1794) не только устранило два последних путешествия за ненадобностью, но и подсократило первые два — за непристойностью. И такие издания становились привычными и типовыми. В 1808 г. в Филадельфии и Глазго одновременно опубликованы «Удивительные приключения капитана Гулливера в лиллипутском королевстве». В том же году, правда, в серии «Британские классики в издании Уокера» по старой памяти вышли все четыре путешествия, но отнюдь не без сокращений. Избавляться от книги было неудобно и невыгодно: легче было изгладить в ней следы авторства декана Свифта. К началу XIX в. общим местом стало утверждение, что это авторство книгу не украшает.

Само остроумие Свифта в новую эпоху стало цениться невысоко. Оно было чересчур всеобъемлющим; а европейцы, после французской революции и наполеоновских войн, были склонны относиться к себе серьезно и даже с некоторым восхищением. **Человека надлежало возвышать и вдохновлять**: для этой цели из прежних авторов прекрасно годился, скажем, Дефо и совершенно не годился Свифт. (Заметим, кстати, что с этих пор Свифта и начинают ставить в пару не с Рабле, а с Дефо.)

Очень характерно, хоть и в немногих словах, высказался о Свифте старший современник Байрона, меланхолический и метафизический романтик Сэмюэль Тейлор Кольридж. «Сравните презрительного Свифта с презираемым Дефо, и насколько же выше окажется последний!» —

писал Кольридж и спрашивал далее: «Как же сравнивать? Да хоть так. Писатель, который пробуждает симпатию всего моего существа к его изображениям, значительнее, нежели тот, кто вызывает к жизни лишь часть моего существа и обращается к ней — **{152}** например, к чувству смешного; тот, первый, заставляет меня забыть о своем особом месте в жизни, характере, обстоятельствах, возвышает меня до человека вообще. Вот в чем превосходство Дефо».

Логика простая: Кольридж утверждает, что целое больше и, следовательно, лучше части. Робинзон Крузо и качестве «человека вообще» представляет целое: «Крузо восходит лишь на те вершины, на которые могут и должны подняться все люди — им можно дать это почувствовать — на вершины религии, покорности... и благодарственного познания божественного милосердия и доброты». Характерна (в принципе вовсе необязательная) религиозная окраска этого культа «человека вообще», т. е. некоего собирательно-универсального существа. Тем самым культ заявляет себя выше всякой критики.

Действительно, трудно найти что-нибудь более чуждое Свифту, чем благочестивый буржуазный гуманизм в религиозном ореоле. О своеобразном отношении декана к религии уже говорилось; прибавим теперь, что во всех своих сочинениях он не позволил себе ни одной благочестивой фразы, хотя прямым безбожником отнюдь не был. Просто всякая умиротворенность казалась ему (и не без оснований) фальшью, способом успокоить совесть и закрыть глаза на действительное положение вещей. Он в самом деле противоположен Дефо: но между ними, конечно, нет взаимоотношений целого и части («целое» Кольриджа, т. е. представление о «человеке вообще» — увы, всего лишь частность истории). Это противоположность реалиста и утописта. Выдуманный Робинзон Крузо благополучно претерпевает выдуманные приключения на выдуманном острове. Капитану Гулливеру открывается действительность: прошлое, настоящее и будущее европейской буржуазной цивилизации во всем объеме.

{153} Однако Кольридж был в своем роде замечательным и проницательным критиком. То, что он хотел сказать, он умел выразить; и хотя судил о Свифте походя и довольно небрежно, но не без меткости. Тому свидетельством его знаменитое определение Свифта: «засушенная раблезианская душа» — фраза, может быть, излишне броская, но емкая.

«Путешествия Гулливера» он считал лучшей книгой Свифта и в этом смысле был едва ли не первым, потому что таковой обычно признавали «Сказку бочки» — главным образом по слухам или из снобизма, а также оттого, что она казалась достаточно неактуальной и вполне пригодной на роль литературного монумента. Дело не в том, что «Сказку бочки» переоценивали — ее трудно переоценить, — а в том, что «Путешествия Гулливера» по сути не были прочитаны (в лучшем случае из них надергивались цитаты для каких-нибудь рассуждений) и считались легкой беллетристикой с сатирическими узорами. В девятой из проведенных в 1818 г. бесед на литературные темы Кольридж распространился о Стерне, Рабле и Свифте, в частности о «Путешествиях Гулливера».

«В сочинениях Свифта, — говорит Кольридж, — присутствует ложная мизантропия, происходящая от созерцания исключительно пороков и безумств человечества, и этот мизантропический тон вдобавок обезображен пристрастием автора к низменному и грубому... В путешествиях в Лиллипутию и Бробдингнег он показывает ничтожество и

нравственное несовершенство человеческой природы; в путешествии же к гуигнгнмам представлено отвратительное зрелище человека, наделенного лишь сознанием и лишенного разума и нравственного чувства; в лошадях же выражен его мизантропический идеал человека как существа добродетельного в силу закона и долга, но чуждого принципу любви».

{154} И все-таки путешествие к гуигнгнмам Кольридж предлагал признать «высшим достижением свифтовского гения».

Кольриджу особенно нравилась глава пятая — поношение европейских войн и европейской законности. Такую сатиру — пусть жестокую — он полагал целительной, а потому дозволенной. Книга Свифта при этом разбивалась на «хорошие» и «плохие» куски. Лучше всего — упомянутые обличительные пассажи; затем Лиллипутия; затем Бробдингнег. «А Лапуту я бы вообще выбросил: это жалкий недоносок воображения, порождение желчи, невежества и самодовольства».

Представить себе «Путешествие Гулливера» как целостную структуру, а не как лоскутное одеяло, Кольридж явно не желал, хотя даже полюбившиеся ему куски четвертого путешествия совершенно непонятны вне «мизантропического» контекста лошадиной жизни и языка. Это отнюдь не самостоятельные упражнения свифтовского «жестокого негодования», а определенный взгляд на вещи, характеризующий разумных лошадей. В таком взгляде есть почти устрашающая (хотя и не полная) правота, и Свифт предлагает ее на рассмотрение читателю — но не отдельно, а в составе многосторонней иронии произведения.

Почти все, что сказано у Кольриджа о «Путешествиях Гулливера», сказано о четвертом путешествии и, разумеется, не без замечаний насчет недоброкачественной сатиры. Правда, йэху его не оскорбляли: «обычно критики жалуются на йэху; я жалуюсь на гуигнгнмов». Йэху, как растолковывает Кольридж, выражают позволительную идею, что существо человека — не в его телесном облике, а «в разуме и совести, каковые придают прелесть и достоинство не только человеку, но и виду человеческому».

{155} Поэт-романтик согласен, что разум и совесть могут ужиться и с лошадиным видом, но свифтовские лошади ему решительно не нравятся. «Недостаток произведения в его непоследовательности, — пишет он. — Гуигнгнмов нельзя назвать разумными существами, т. е. обладателями совершенного разума: они не прогрессивны; они имеют слуг, хотя непонятно, чем те ниже их; и, наконец, они, т о е с т ь с а м С в и ф т (разрядка моя. — *В. М.),* постоянно стремятся быть мудрее самого Творца... и искоренять то, чему Господь велел следовать и покоряться — например, материнское и отцовское чувство. Воистину они сами подобны йэху, настойчиво отрицая существование любви, отличной от дружеского чувства и все же всегда чуждой, а иногда и враждебной любострастью».

Свифтовская сатира «ощущалась бы в тысячу раз глубже, если бы разум был отображен правдиво; и автор выказал бы более утонченное воображение, если бы показал воздействие разума на внешний вид и жесты лошадей». Видимо, Кольридж к лошадям как таковым относился легкомысленно, и для благоговения ему требовалась некая иная, высшая лошадь, что-нибудь типа Пегаса.

Гулливер мог бы ему сочувственно заметить, что и он поначалу недооценивал обычную лошадиную внешность, но, оборотившись на себя и своих сородичей-йэху, постепенно осознал, сколь, по контрасту,

благообразны кони и даже ослы. Но Кольридж бы и тут не притих, а выставил бы заготовленное возражение, что в главе четвертой путешествия к гуигнгнмам «лошадь рассуждает о человеческой наружности под действием грубейших предрассудков, какие только проистекают из тщеславия и самомнения». Видно, не так уж и разумны эти хваленые гуигнгнмы, если не замечают, до чего великолепно сложен человек, какие у него восхитительные руки, ноги и пр. «Короче, сравните эффект сатиры, основанной на **{156}** истине и здравом смысле, с остроумнейшими из тех пассажей, которые напитаны желчью и неуважением к природной внешности человека, — и чувства читателя послужат ему верным руководством при перечитывании этого произведения».

Может показаться, что Кольридж чудовищно наивен или начисто лишен чувства юмора; это не так. В других случаях он выказывал более чем достаточно ума и остроумия. Что же до Свифта, то за несколько лет до цитированных нами «Бесед» Кольридж признавался в своей литературной автобиографии, что его в жизни не интересовали свифтовскне шедевры, и только заведомые шутливые «безделки» вызывали у него иногда невольный смешок.

Может быть, он и обошелся бы без всяких про- или аптисвифтовских высказываний, но именно он чувствовал себя призванным навести порядок в истории английской литературы. Обойти Свифта было нельзя, и Кольридж попытался кое-как пристроить его к делу сатирическим подметальщиком: совесть не позволяла ему отвести декану место на высотах человеческого духа, рядом с великим Шекспиром или гениальным Мильтоном. «Писания Рошфуко и Свифта не выказывают действительного знания человечества; в них представлена лишь темная сторона вещей. Писания Свифта достойны также порицания затем, что они изобилуют нечистоплотными подробностями; и нечистоплотность эта также и нравственная».

Странно, конечно, видеть, как спорные соображения личной гигиены управляют литературными оценками; но такова уж была специфика викторианской эпохи, а она наступала. Скорее надо удивляться тому, до чего добросовестен и корректен Кольридж. Он хоть и тщетно силится приткнуть куда-нибудь Свифта, но не клевещет на **{157}** него и не перевирает его произведения. Он еще различает и охватывает взглядом личность и творчество декада, но как бы из-за стеклянной стены, не понимая смысла и значения того, что видит.

Не нужно обманываться словами: хотя и в ту пору, и позже Свифт часто имел в Англии опознавательный эпитет «знаменитый» и — реже — «великий», но какой-нибудь любопытный чужестранец ни у кого бы не разузнал, чем это так уж особенно «знаменит» или даже «велик» пресловутый доктор Свифт. Сомнительная политическая биография, скандальная личная жизнь, какие-то непотребные стишки, засушенные остроты и чопорный слог устаревших памфлетов, наконец, забавное, хотя до глупости желчное сочиненьице о Гулливере — вот и все, что мог бы наскрести в памяти начитанный англичанин начала XIX в. при имени Свифта. И младенцу ясно, что репутация «знаменитого доктора»— попросту дутая, и рано или поздно сойдет на нет.

В 1814 г. выходит монументальная «История романа» Джона Данлопа. При всех своих достоинствах это все же не история литературы, а скорее обзор занимательного чтения, книга о вкусной и здоровой духовной пище для ценителя беллетристики.

Где-то между «Робинзоном Крузо» и Анной Радклиф мы встречаем и «Путешествия Гулливера» «прославленного Свифта», которым отведено несколько не весьма лестных строк. «В самом деле, общее воздействие сатиры и юмора, пожалуй, мало благоприятно для ума; то и другое позволительно и может читаться не без пользы только в том случае, ежели бичуются пороки и безрассудства». «Путешествия Гулливера» имеют свои достоинства, а именно детальность и убедительность выдумки. Но и в этом смысле их зело превосходит «Робинзон Крузо», откушав которого, читатель встает, «восторгаясь человеком»; **{158}** после же «Путешествий Гулливера» — «с помутненным рассудком, эгоистичный, недовольный, а от некоторых частей, смею сказать, почти оскотинившись». «Будет, пожалуй, чересчур сказать, что автор имел отчетливое намерение очернить и оклеветать человеческую натуру, но по крайней мере его произведение являет очевидные признаки больного воображения и истерзанного сердца».

Итак, во-первых, Свифт утверждается в звании автора «Путешествий Гулливера» и не более того (до остального Данлопу нет дела в рамках его книги, а читателю может не быть дела вообще). Во-вторых, «Путешествиям Гулливера» отводится твердое место в ряду беллетристики, причем сорт их явно второй, если не третий (в чем есть свой смысл: скажем, «Дон-Кихот» как рыцарский роман не выдерживает никакого сравнения с «Амадисом Галльским» или «Пальмерином Английским»). В-третьих, разобрав «Путешествия Гулливера» как беллетристику, в них легко обнаружить массу лишних частей (например, третью и четвертую) и неуместных пассажей. Будет только резонно таковые устранить, чтобы они не мешали книге исполнять свое прямое читательское назначение.

«Путешествия Гулливера» получили отдельную упаковку; издателям и редакторам предоставлялось привести их в удобочитаемый вид. Теперь можно было приняться за Свифта как такового, отодвинуть его еще подальше в историю и лишить демонического ореола. (Речь, разумеется, идет не о заговоре или серии мероприятий, а о том, как протекал литературный процесс.).

Сработала, однако, английская корректность: прежде чем вконец осрамить декана, его сочинения тщательно собрали и выпустили в 19-ти томах (Эдинбург и Лондон, 1814). Проделал это не кто иной, как Вальтер Скотт, и труд его, не обинуясь, можно назвать шедевром **{159}** текстологической и изыскательской работы. Мало того, что Скотт составил свифтовский канон, с тех пор не слишком изменившийся; он написал первую научную биографию Свифта (1-й том сочинений). Это скорее компиляция фактов, чем концепция жизни и творчества; но компиляция неоценимая. Кроме всего прочего, читать ее легко и интересно, чего не скажешь о некоторых позднейших свифтоведческих трудах, мрачно и наукообразно пережевывающих в большинстве все те же собранные Скоттом факты. Как истый антикварий Скотт относился к предмету своих изысканий нежно и бережно; у него мы не найдем ни разоблачительных тирад, ни уничтожающих сравнений. Изредка он считает своим долгом вздохнуть: «...даже нравственная цель не оправдывает такой сатирической наготы» или что-нибудь в этом роде.

В самых отчаянных случаях Скотт пытается выгородить своего подопечного ссылкой на то, что в «Путешествиях Гулливера» ясно видны «первые напечатления... начинающейся душевной болезни».

Первый же рецензент скоттовского издания (им оказался сам редактор влиятельнейшего «Эдинбург ревью» сэр Уильям Джеффри) злобно ощерился на безнравственного декана и его мягкотелого биографа. Сэр Уильям не любил смягчать и мямлить: он прямо и во весь голос высказал, что у него накипело на душе. Не будем демонстрировать всю пошлость, наглость и грубость его начальственных окриков; скажем только, что именно эти окрики задают тон свифтовской критики на несколько десятилетий. Они же отложились и в школьной истории литературы: автор учебника 1864 г. пишет о «Путешествиях Гулливера» с оглядкой на Джеффри и пр.

Через несколько лет после Джеффри назвать Свифта в печати негодяем, подлецом, растлителем, предателем, бездарностью или — и того краше — скотом было **{160}** проще простого. Конечно, для порядка требовался более или менее косвенный оборот, но и то не всегда. Один за другим ополчаются на Свифта законодатели вкусов и мнений викторианской Англии. Знаменитейший историк и государственный деятель Томас Бэбингтон Маколей вообще не желает вспоминать о каких-то там свифтовских писульках; он лишь почем зря клеймит этого перебежчика, этого жалкого, грязного и озлобленного честолюбца.

Критик-эстет (и весьма талантливый иронист) Томас де Квинси объявляет Свифта мерзавцем и ничтожеством, требует решительного понижения всех завышенных оценок и брезгливо цедит: «... его тупая неспособность постигнуть величие человеческого духа... абсолютно плачевна».

Некий Гилфиллан, тоже не из последних викторианских диктаторов, предлагает: «Свифта надо отнести туда же, куда и этого янки-йэху, Эдгара По. Ни тот ни другой не могли поверить, что человечество, раз оно породило на свет таких, как они, имеет связь с божеством». *Надо сказать, что более экстравагантной пары Свифту еще никто не подобрал.*

Естествоиспытатели, которых, как мы видели, Свифт не миловал, расплатились с ним на свой манер. В начале 30-х гг. его череп был откопан и обследован френологами, и оказалось, что шишки на черепе наглядно выдают умственное и нравственное убожество Свифта. Деятели науки несколько лет хаяли новообнаруженный экспонат в специальных журналах.

(дополнительно, ldn-knigi, источник: http://phrenology.by.ru/kratko.htm

ФРЕНОЛОГИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ (отрывок)

1. Что означает термин "френология"?

Слово френология произошло от греческих слов φρην (френос) — грудобрюшная преграда (в переносном значении — дух, душа, сердце) и λογος (логос) — слово, наука. То есть, буквально слово "френология" означает ***"наука о душе".***

2. Френология - это изобретение нацистов?

Ни в коем случае. Измерение черепов, которым занимались немецкие национал-социалисты для "подтверждения" своих расовых теорий это дешевая профанация френологии и не имеет никакого отношения к реальной науке. ***В действительности отцом френологии считается австрийский врач и анатом Ф. Й. Галль (1758 - 1828),*** *хотя зачатки френологических исследований мы можем увидеть уже в работах древнегреческих философов, в частности, у Аристотеля.*

3. Что является предметом изучения френологии?

Предметом изучения френологии являются свойства человеческого мозга. Френология устанавливает зависимость между психическими и физическими свойствами человека в их взаимодействии.

5. Чем современная френология отличается от френологии 19 века?

В 19 веке считалось, что все психические свойства, локализующиеся в полушариях мозга, при развитии вызывают разрастание определённого участка мозга, а это, в

свою очередь, — образование выпуклости на соответствующем участке черепа; при недоразвитии каких-либо свойств в черепе образуются впадины.

Развитие нейрофизиологии и нейрохирургии показало, что это не так. Несомненно, форма черепа не повторяет форму мозга, да и, как правило, невозможно выделить отдельные участки мозга, отвечающие за то или иное свойство человеческой психики. Однако, корреляция между формой черепа и свойствами психики существует и этот факт подтверждается множеством экспериментальных данных. Галль ошибался в определении причин этой корреляции, приписывая зависимость между формой черепа и свойствами психики причинам физиологического характера - ошибка, вполне характерная для того времени.

Однако, накопленная экспериментальная база позволяет заключить, что несомненная зависимость между психикой и анатомической структурой существует. К сожалению, причины этой зависимости на сегодняшний день не вполне ясны.

6. Почему френология не в состоянии выявить причины зависимости между формой черепа и свойствами человеческой психики?

К сожалению, из-за ошибки в посылках, принятых френологами 19 в., большинство ученых стали отрицать ценность френологии как таковой.

Одна из наиболее прогрессивных теорий, объясняющая указанную зависимость свойствами генетического кода человека, не может быть проверена в силу невозможности получить деньги, необходимые для проведения исследований.

7. Какова существующая на данный момент сумма объективных знаний в области френологии?

В том, что касается практической френологии, наши знания довольно обширны. Мы уже способны установить зависимость между определенными характерными признаками человеческого черепа и некоторыми чертами его характера с вероятностью более 90%. Исследования в этой области ведутся очень активно, и экспериментальным путем постоянно выявляется новая информация. В качестве основных инструментов практической френологии используются эксперимент и статистический анализ.

В том что касается теоретической френологии, ситуация гораздо хуже. Мы находимся в положении, похожем на положение известного физика Дж. К. Максвелла. Он знал о существовании электромагнитного поля и даже сформулировал используемые сейчас основные уравнения, описывающее свойства этого поля, однако объяснял их справедливость развенчанной впоследствии "теорией упругого эфира". Наше положение даже хуже - старая теория развенчана, а новой не существует. Более того, вести исследования в этой области практически невозможно, в силу массового скепсиса в отношении френологии. Конец дополнения, ldn-knigi)

Ободренные наукой журналисты пошли дальше. Они припомнили неосторожное предположение Скотта насчет следов душевной болезни в «Путешествиях Гулливера». У журналистов предположение легко перерастает в уверенность, и вот уже в 1849 г. кто-то пишет, что **{161}** знаменитое произведение Свифта «более или менее симптоматично для душевной болезни». А через год «Таймс» упрощает выражения: книга «более или менее сумасшедшая».

С декана буквально не сводили указующего и негодующего перста. Но пока одни упражнялись в незамысловатой ругани и клевете, другие все-таки отваживались издавать его возмутительные сочинения. Так, в 1840 г. является на свет лучшее по тому времени иллюстрированное, аннотированное и почему-то не сокращенное издание «Путешествий Гулливера». Издатель, правда, спешит оговориться, что это по своей идее не такое уж губительное чтение.

«Первоначально целью книги была просто карикатура на преувеличения путешественников; сатира на человеческую природу возникла в процессе написания, и Гулливер, прежде задуманный своим создателем как философ, стал прямодушным моряком ввиду популярности Робинзона Крузо».

Если бы во всем этом была хоть капля достоверности, можно было бы поздравить издателя с любопытнейшими открытиями; но увы, ни одно

из четырех приведенных его утверждений почти вызывающе не согласуется с действительными фактами. Что ж, тем хуже для фактов.

Издание 1840 г. было роскошным, почти библиофильским. Широкая же публика наслаждалась очищенными и улучшенными редакциями. Но и тут критики законно опасались за читателей: никакая чистка не казалась достаточной.

Самый модный и популярный тогдашний прозаик Э. Дж. Бульвер-Литтон сочинил поэму «Души книг» (1842), где торжествовал победу читателей над кознями декана Свифта. Мы позволим себе воспроизвести нужный пассаж в прозе: он от этого мало что теряет.

«Се! — восклицает романист, — се мрачное и злобное **{162}** веселье, извергающееся из него, этого Мастера Насмешки над Человечеством. Рядом с его зловещей и желчной ухмылкой веселые сарказмы Вольтера кажутся безмятежной улыбкой. Ужель мы вложим это в руки нашим детям и повлечем юную Надежду по выдуманным странам Лемюэля? Не суть ли гнусные йэху клевета на Бога и на человека? Да, но велик ли вред от этой клеветы? О бессилие Гения злоупотребить своим славным назначением, своим небесным даром! Свифт написал эту книгу, дабы излить свое бесстыдное презрение ко всему, что должен любить человек и оплакивать священник. И се! Противу всех его намерений, книга стала источником невинных восторгов какого-нибудь счастливого дитяти!»

Ничего не имея против «невинных восторгов» того или иного «счастливого дитяти», надо все-таки сказать, что книга может порождать подобные восторги лишь в крайне урезанном виде. Детское чтение имеет свои права: действительно, незачем подсовывать дитяти полного «Гулливера» — не столько за его непристойностью, сколько за непонятностью. (Заметим тут же, что одно из недавних детских изданий «Путешествий Гулливера» на французском языке, опубликованное в Париже, но подготовленное в ГДР, состоит лишь из первых двух частей, но их текст переведен строго и почти без выпусков.)

Появление детских вариантов и пересказов «Путешествий Гулливера» понятно и обоснованно, но это особое ответвление судьбы свифтовской книги, так сказать, отдельный ее побег. Вряд ли справедливо будет считать, что в детских ручонках «Путешествия» обретают свое истинное назначение.

Однако так бы и считалось, если б делу не мешало злосчастное четвертое путешествие. Из-за него вся книга не укладывалась в подарочный пакетик. И не только о детях приходилось волноваться, а о том, как защитить **{163}** и уберечь взрослых. Ибо, как писал редактор издания 1864 г., «примириться с этой ужасной клеветой на человеческую натуру невозможно; смягчить ее трудно; и только чувство, что полностью опустить все это четвертое путешествие было бы неоправданно, побудило нас сохранить его; однако мы обошлись с ним так, чтобы сделать его не менее пригодным для широкой публики, нежели предшествующие». Последняя фраза означает не то, что остальных путешествий не тронули, а что их несложно было кромсать.

Ругать вообще легче, чем хвалить; заметим к тому же, что в процессе неумеренной ругани реальные очертания ругаемых явлений постепенно пропадают: человека разделывают под огородное пугало, происшествия теряют оттенки и упрощаются до примитивности, книги окарикатуриваются и т. д. Не будет преувеличением сказать, что к середине XIX в. действительный Свифт почти совсем пропал из виду его

соотечественников. Монотонно повторялись одни и те же заклинания, механически выносились одни и те же оценки, и в этой колее даже как-то скучно стало думать о Свифте.

Свежую струю в этот процесс забвения внес в начале 50-х гг. знаменитейший из знаменитейших викторианцев мистер Уильям Мейкпис Теккерей. Фигура Свифта является в его романе «История Генри Эсмонда» (1852), «книге, которая воспроизводит язык и нравы века королевы Анны» (слова из авторского посвящения). Выпустив Генри Эсмонда, эсквайра, на историческую сцену, Теккерею поневоле пришлось столкнуть его со «знаменитым доктором Свифтом», «мастером льстить сильным и угнетать слабых». Мистер Эсмонд не сплоховал перед «огнедышащей пастью» «этого дракона» и несколько раз вежливо, но строго поставил его на место. И все же посрамленный «дракон» походя признан «величайшим **{164}** из сатириков, когда-либо живших на свете». Свифт помянут здесь немногими, недобрыми и довольно затасканными словами; кукла этого «расходившегося доктора» как будто взята напрокат из «Истории» Маколея. Но еще за год до «Генри Эсмонда» можно было заметить, что Теккерей почти самостоятельно придумал своего собственного доктора Свифта (Отношение Теккерея к Свифту, динамику этого своеобразного притяжения-отталкивания стоит рассмотреть на фоне теккереевского творчества. Именно это сделано в статье А. Старцева «Теккерей и английские писатели XVIII столетия» («Интернациональная литература», 1938, № 12, с. 147—151), к которой мы и отсылаем заинтересованного читателя.).

В мае 1851 г. была прочитана первая из блистательных лекций Теккерея «об английских юмористах XVIII в.» В ней-то и возник тот облик Свифта, который с тех пор окаменел в сознании большинства английских — и не только английских — читателей. В лекции нет пафоса независимого исследования; Теккерей спокойно берет на веру массу сомнительных фактов и их еще более сомнительных интерпретаций. Но с точки зрения действенности это не слабость, а сила теккереевской лекции: она кажется венцом предыдущих изысканий.

С талантом первоклассного романиста Теккерей драматически скомбинировал и сбалансировал приевшиеся факты и оценки. Получился впечатляющий образ страстного и желчного честолюбца, тщеславного мучителя женщин и детоненавистника, неутолимого эгоиста. Головным убором этому сооружению служит терновый венец гениальности.

Теккереевский Свифт накрепко соткан из психологических противоречий, а такие-то образы Теккерею удавались лучше всего. И получилось, что этот вымышленный образ — воплощение комплекса неполноценности, **{165}** как мог бы сказать теперь какой-нибудь фрейдист, — затмевает сочинения Свифта. Теккерей находит нужным воскликнуть по поводу пассажа из «Путешествия в Лиллипутию»: «Каков удивительный юмор этих описаний! Какая здесь благородная сатира! как она справедлива и честна? каково совершенство начертания!» Но рядом с такими преувеличенными восторгами скромная фраза Гулливера попросту не звучит: она ими заглушается.

Столь же оглушительно и негодование Теккерея по поводу, разумеется же, четвертой части. Процитируем этот знаменитый абзац, который читатель — полностью, в отрывках или в иносказательном изложении — может обнаружить чуть ли не в каждой второй послетеккереевской статье или книге о Свифте.

«Что до юмора и построения этого знаменитого вымысла, то, наверно, любой читатель поневоле будет восхищен; что же до морали, то

я считаю ее ужасной, постыдной, трусливой, святотатственной; и как ни велик, как ни грандиозен Декан, я заявляю, что мы должны освистать его. Некоторые из моих слушателей, может быть, не читали этой последней части Гулливера; им я хочу напомнить совет, который мистер Панч дает тем, кто хочет жениться, и сказать: «Не делайте этого». Когда Гулливер вступает на берег и оказывается среди йэху, эти голые воющие ублюдки карабкаются на деревья и осаждают его, и он сам пишет, что «чуть не задохся от падающего со всех сторон кала». Читатель четвертой части «Путешествий Гулливера» подобен герою в этом случае. Она написана на языке йэху: это дикие нечленораздельные выкрики и скрежещущие проклятия человечеству; она срывает последние лоскутья пристойности, насилует всякое чувство достоинства и стыда; гнусные слова, гнусные мысли, бешеные, яростные, непристойные».

{166} Тут незачем — да, собственно, и не с чем — спорить и полемизировать; напротив, стоит с отрадой заметить, что путешествие в страну гуигнгнмов, видимо, произвело на Теккерея сильное впечатление. Это впечатление порождает гневную риторику и красоты слога. Но оценки, даже громогласные, со временем становятся непригодны как таковые и служат лишь свидетельствами о восприятии такого-то явления в такую-то эпоху.

Перед нами ценное свидетельство; если же убрать из него призыв к свисту, то какой-нибудь декадент мог бы прочесть теккереевский пассаж как восторженное одобрение и тем самым подтвердить известную истину, что декаданс есть лишь изнанка буржуазного самодовольства.

Примерно это и делает английский поэт и критик 60-80-х гг. XIX в. Джеймс Томсон, «известный своей безудержной меланхолией, атеизмом и политическим радикализмом», как о том сказано в одной из нынешних литературных энциклопедий. В сборнике «Эссе и фантазии» (1881) Томсон пишет: «Слишком сильный и страшный для Теккерея и Маколея, Свифт еще много страшнее для среднебуржуазного Джона Буля, который, будучи храбрейшим из храбрых во многих отношениях, все же есть боязливейший из смертных лицом к лицу с неприятными истинами, которые тревожат его сытый комфорт, истинами, враждебными его несложному и старомодному мышлению без мысли; особенно если эти истины противостоят его сонной инерции в религиозных, нравственных или социальных вопросах».

«Атеизм и политический радикализм» (а отчасти, вероятно, и черная меланхолия) были у Томсона, как и у его более знаменитого современника А. Ч. Суинберна, лишь способами эпатировать буржуа: последователен он в том и в другом не был. Он не собирался вникать, как **{167}** именно поставлены у Свифта «религиозные, нравственные или социальные вопросы», но готов был использовать Свифта как предшественника декадентского эпатажа. На это можно только заметить, что Свифт в таковые не годится и что теккереевские оценки, даже обращенные против Теккерея, не становятся от этого ни более правильными, ни более достоверными. Просто вымышленный образ Свифта использован по-другому. Томсон, со своей стороны, ничего существенно нового в этот образ не внес.

С легкой руки Теккерея укоренилось представление, подсознательно или полусознательно бытующее во многих самых научных свифтоведческих трудах: что первые два путешествия — это простая, занятная и вразумительная сатира для детей и взрослых; третье — хаотично и большей частью бессодержательно; а четвертое — хоть и

очень нехорошее, но достойное особого внимания. Критики поэтому набирали похвальные образцы сатиры из двух частей, кое-как перебирались через третью и наперебой кидались толковать четвертую. Редко-редко можно встретить попытку описать «Путешествия Гулливера» как целостное произведение словесности» (Такую попытку, например, проводит средствами публицистики советский исследователь М. Левидов в книге «Путешествие в некоторые отдаленные страны мысли и чувства Джонатана Свифта...» (М,, 1964). Он считает «Путешествия Гулливера» автобиографией, беллетризированной исповедью Свифта, что весьма интересно, хоть и крайне спорно.).

К концу XIX в. отношения английской публики с книгой Свифта складывались примерно так. Каждый грамотный англичанин наверняка читал ее в детстве и наверняка урезанную и очищенную. Те, кто почему-либо сохранял интерес к литературе, почти наверняка знакомились — из первых, вторых или третьих рук — **{168}** с теккереевской версией жизни и сочинений Свифта и, надо думать, с удивлением узнавали о дополнительных приключениях Гулливера. Некоторые из читателей, вероятно, добирались и до полного текста «Путешествий» (что было, кстати, нелегко: надо было листать увесистые тома избранного Свифта). Одни (большинство) соглашались вместе с Теккереем освистать неуемного Гулливера, другие (очень немногие) находили аргументы в пользу Свифта. Кое-кто становился критиком или даже историком литературы. Полдюжины из этих последних занимались Свифтом упорно и всерьез: в результате к концу века имелись две (Дж. Форстера и Г. Крэйка) великолепные и добросовестнейшие биографии писателя и несколько очерков его жизни и творчества (Дж. Ч. Коллинз, Л. Стивен, Д. Морайэрти). В нашу задачу не входит их разбор; скажем только, что там можно найти разные оттенки мнений — от стереотипных до весьма продуманных.

Начало свифтоведению — в отличие от сугубо оценочной критики Свифта, которая процветала и процветает своим чередом, — было положено в XIX в. трудами Вальтера Скотта, Джона Форстера и Генри Крэйка. В нашем столетии случилась любопытная вещь: Свифт как бы придвинулся, осовременился и стал чрезвычайно привлекателен для литературоведов. Из многочисленных книг и статей о нем упомянем несколько основополагающих.

Монография видного французского историка литературы Эмиля Понса «Свифт: молодые годы и «Сказка бочки» (Страсбург, 1923) дает подробный анализ до сих пор малоисследованной проблемы формирования писательской личности Свифта. Четкую, цельную и основательную интерпретацию свифтовского творчества содержат книги американских литературоведов **{169}** Рикардо Кинтаны «Мысль и искусство Джонатана Свифта» (Нью-Йорк, 1936) и Кэтлин Уильямс «Джонатан Свифт и век компромисса» (Лоренс, 1958). В 1964 и 1967 гг. в Лондоне вышли первые два тома монументального биографического исследования Ирвина Эренпрейса «Свифт: его личность, сочинения и время» (предположительно должны последовать еще два или три тома);

Из книг более популярного свойства стоит назвать интересный и остроумный очерк жизни и творчества Свифта, написанный известным английским писателем Найджелом Деннисом (Лондон, 1964).

Лишне говорить, что и эти книги далеко не свободны от общих методологических недостатков западного литературоведения. И все же, казалось бы, после таких и им подобных трудов никакие (уже знакомые нам) «легенды о Свифте» невозможны; но они упорно всплывают — как

доказательство живучести обтекаемых и упрощенных представлений.

Суждения специалистов редко доходят до публики в целости и сохранности. Да и сами специалисты в трудах своих не обращаются к массовому читателю; ходячие представления формируются в критике (особенно журнальной), в популярной публицистике и беллетристике. Пушкинские слова о том, что «переводчики— почтовые лошади просвещения» — могут с неменьшим успехом быть отнесены к литераторам и журналистам вообще. Другое дело — как происходит эта трансформация сведений; и нужно учитывать, что, трансформируясь, фильтруясь, делаясь общепонятными и общеинтересными, соображения специалистов обратным ходом воздействуют на их почтенное сословие.

До читателя могло кое-как дойти (и необязательно вызвать согласие) соображение, что «мы презираем мелочные свары шестидюймовых существ и поэтому **{170}** готовы... перенести презрение, вызванное лишь размером, на сами мотивы, которые одни и те же у больших и маленьких человечков» (Л. Стивен) или что «истинные чувства Свифта были чувствами не моралиста, а некоего высшего существа, которое взирает сверху вниз на человечество и находит его заслуживающим презрения» (у него же).

Но вот другое: не может ли быть так, что портрет гуигнгнмов — «лишь новый аспект сатиры на человечество, иные идеалы которого могут быть достигнуты только путем устранения всего, ради чего стоит жить; а с другой стороны — чьи чувства и страсти, вызревая на полной свободе, кончаются мерзостью йэху?» (Г. Крэйк). Если понимать это высказывание так, что еще Свифт остерегал против максимализма и анархизма, присущих буржуазной идеологии, то мысль окажется как будто небезынтересной. Но увы, на пути от исследования к публике она почти наверняка терялась или, если даже и доходила до неподготовленного читательского сознания, то не укоренялась в нем.

Кстати, эта мысль развернута и продолжена в пока что последнем из «продолжений» книги Свифта — пятом путешествии Гулливера, якобы новонайденном литературоведом Мэтью Ходгартом в 1969 г., — путешествии, где «автор возвращается в Страну Гуигнгнмов и обнаруживает новое государство Либеральных Лошадей и «Мятежных йэху». Не случайно, оттолкнувшись от Свифта, оказалось так легко перейти к аллегорическому изображению современного упадка нравов на Западе, нынешней «радикальной» свистопляски и «либерального» растления умов — т. е. к предначертанной Свифтом картине крушения идеологических основ буржуазного общества. К сожалению, сочинение Ходгарта — скорее профессиональный кунстштюк *(ldn-knigi, на нем. – выходка, искусная махинация)*, шутка «между своими», **{171}** чем широковещательная беллетристика. Путь мысли к читателю, стало быть, до сих пор не закончился. Да и кому было до каких-то академических выкладок свифтоведов, когда в 1882 г. рядовой журналист замечал: «Свифт — один из тех хрестоматийных авторов, книги которых никто не читает».

Однако картина будет неполной, если мы умолчим о том, что и в Англии XIX в. у Свифта все-таки находились поклонники и защитники, помимо свифтоведов. Обычно их отважные возражения тонули в хоре негодующих голосов и мгновенно забывались — порой даже заслуженно, потому что не содержали в себе ничего, кроме полемического задора. Более того, скажем даже, что, как правило, хулители Свифта были интереснее его апологетов.

Но в том же 1818 г., когда Кольридж никак не мог толком разъяснить себе и публике, зачем просвещенному столетию нужен декан Свифт, вышла книга Уильяма Хэзлитта «Чтения об английских поэтах». Знаменитый эссеист, Хэзлитт был особенно известен своими статьями и книгами о литературе, причем его критика не отличалась академизмом и адресовалась не к собратьям по профессии, а к любознательным читателям. Его критические наблюдения всегда были интересными и тонкими и немало способствовали воспитанию тогдашнего читательского вкуса. Однако мнения его принимались со скидкой на излишнюю оригинальность (кстати, он был весьма радикальных убеждений), и надо полагать, что скидка коснулась его выкладок о Свифте. Между тем выкладки эти до сих пор сохранили свежесть и своеобразие.

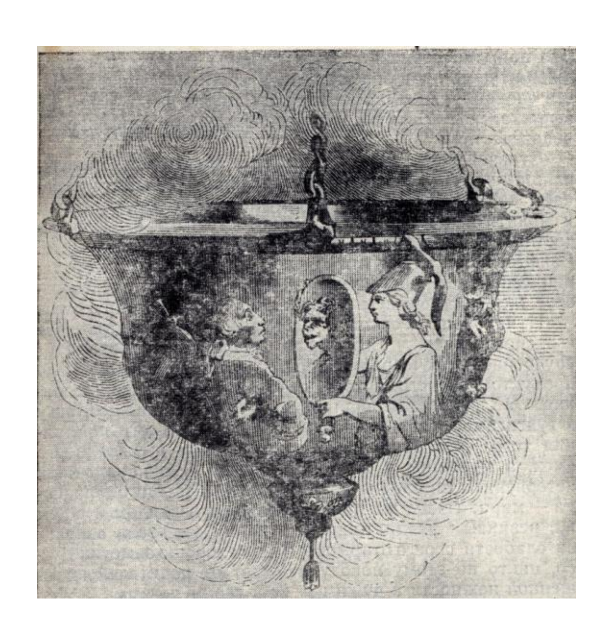
Свифт у Хэзлитта назван «поэтом», и в книге «Чтения об английских комических писателях» (1819) речь о нем идет лишь мимоходом. Мимоходом же сказано:

{172} «Мистер Аддисон... рискнул даже испытывать истинное остроумие исключительно на тот предмет, выдерживает ли оно перевод на другой язык, иначе говоря, утверждал, что оно совсем не зависит от формы выражения. Но это ни в коем случае не так. Вряд ли к Свифту приложима такая смирительная теория: страшно пострадали бы все его излюбленные и головоломные причуды. Однако не найти другого писателя, у кого бы серьезное остроумие было столь вещественным, в отличие от простой игры слов или воображения... Остроумие часто есть притворная нелепица, когда человек с преувеличениями разыгрывает какую-то роль, сознательно стремясь представить себя как бы в другом лице».

О Свифте редко говорилось точнее; но заглянем также и в книгу «об английских поэтах», где имя декана вынесено в заголовок одного из «чтений».

«Сила «Путешествий Гулливера», — пишет Хэзлитт, — несомненна, и это сила, которая сотрясла мир. Сила эта — не в громких словах и не в пышных банальностях. Свифт оставил то и другое на откуп желающим и сделал то, что лишь при остроте и напряженности его мысли можно было задумать и выполнить. Он вознамерился лишить пустую гордость и пустое величие того внушительного вида, который придают им внешние обстоятельства. Он увеличивает или уменьшает масштаб, желая показать, как мы то ничтожны, то уродливы в своей высокомерной самовлюбленности. То, что он сделал это математически точно, с полной трезвостью и чрезвычайно сдержанно, сделал так, что это равно доходит до понимания взрослого и ребенка, ничуть не умаляет достоинств произведения или гения его автора... Он провел эксперимент с человеческой жизнью, выделив ее претензии из сплава обстоятельств; он обмерил ее линейкой, взвесил и нашел большей частью убогой и никчемной, **{173}** как по сути, так и по видимости.

В его системе не осталось ничего прочного, ничего ценного, кроме мудрости и добродетели. Какая клевета на человечество! Какое убедительное доказательство мизантропии! Какая самонадеянность и какая злонамеренность — показать людям, каковы они есть, и учить их, какими они должны быть!..



{174} Это попытка сорвать с мира лживую маску; и только лжецам дано право на это сетовать. Нравственное и прочее словоблудие было не в духе Свифта; и его гений не выражался в составлении бессмысленных панегириков человечеству!»

Ставя Свифта рядом с Рабле и Вольтером («величайшими остроумцами нового времени»), Хэзлитт замечает: «У Свифта... остроумие было серьезным, мрачным и практическим; у Рабле — фантастичным и жизнерадостным; у Вольтера — легким, игривым и словесным. **Свифтовское остроумие было остроумием рассудка; раблезианское — остроумием безрассудства; вольтеровское же — остроумием безразличия к тому и другому»**. *(выделено нами, ldn-knigi)*

И наконец: «Резкий и ядовитый нрав обострял все его способности... Его живая ирония происходила от внутренней горечи размышлений; его воображение было продуктом точного, сухого, необоримого упорства сознания. Он... изобретал лиллипутов и бробдингнежцев, йэху и гуигнгнмов, чтобы отвлечься от мучительного понимания того, что происходит вокруг. Они вызывали его смех, а мужчины и женщины — гнев. С лихорадочным нетерпением он следил за хворостями большого младенца — мира; таким же проницательным взглядом и с тем же ревнивым раздражением, с каким родитель взирает на слабости своего отпрыска; но, как хорошо заметил Руссо, никто по этому поводу не ждет от родителей повышенной нежности к чужим, а не к своим детям».

Совершенно необязательно во всем соглашаться с Хэзлиттом. Но не будь написаны его несколько страниц о Свифте, можно было бы сказать, что Англия XIX в. была способна в лучшем случае изучать жизнь и творчество своего великого писателя, читать же и понимать его книги вконец разучилась.

Глава вторая

и предпоследняя,
содержание которой
не представит новости для читателя

На европейском континенте со Свифтом поступили так же, как и в Англии, но это прошло спокойнее и увереннее. «Путешествия Гулливера», приведенные в порядок, предоставили детям; самого же декана незаметно отчислили в разряд малоизвестных, высокочтимых и вредных писателей. Ни один сколько-нибудь видный немецкий писатель или критик XIX в. и словом не обмолвился о книге Свифта, хотя она то и дело публиковалась и расходилась в Германии.

В 1839 г., например, в Штутгарте вышел новый перевод «Путешествий», выполненный неким доктором Францем Коттенкампом и снабженный вышеупомянутыми 450 иллюстрациями и заставками французского гравера Жана Гранвиля.

В 1844 г. немецкие англофилы получили в подарок трехтомник избранного Свифта — издание, рассчитанное скорее на библиотечную полку, чем на широкую публику. Составители обошлись с текстами осторожно, а декана даже уподобили лорду Байрону, что по тем временам было верхом почета. Чтение Свифта уже грозило стать в Германии признаком снобизма, когда, наконец, некто Франц Гофман «свободно пересказал» «Путешествия Гулливера» — якобы с английского — «для молодежи и ее друзей».

Гофмановский Гулливер настолько онемечен, что его трудно отличить от барона Мюнхгаузена, и совершенно неважно, с какого языка сделан этот «свободный пересказ». Но увы, это была лишь любительская попытка, не то что сделанный знаменитым педагогом **{176}** Иоахимом-Генрихом Кампе пересказ «Робинзона». С 1779 по 1891 г. он вышел ста пятнадцатью изданиями. «Путешествия Гулливера» не удостоились подобной участи, как их ни переиначивали для немецких детей и юношества, а переиначивали неоднократно. Некоторый успех имела переработка Карла Зайфарта (1870), богато иллюстрированная гравюрами Гранвиля и Офтердингена. Зайфарт уверял в предисловии, что он «не причинил существенного ущерба духу и содержанию произведения»: «свифтовский юмор и остроумие будут струиться столь же мощным потоком, даже если выбросить за борт или смягчить отдельные цинические грубости или фривольности». Издание предназначалось для детей старшего школьного возраста. И так как в них надлежало воспитывать «возвышенное и мужественное мировоззрение», то Зайфарт «выбросил за борт» третье путешествие и по мере сил «смягчил» четвертое и два первых.

Беглый перечень скудных событий карьеры «Путешествий Гулливера» в Германии XIX в. уместно завершить цитатой из предисловия к избранному Свифту 1897 г. издания: «Слава этого произведения не должна склонять ни к его чтению, ни к лицемерному восхвалению».

Нам нет нужды вдаваться в перечисление немецких публикаций книги Свифта в XX в. Переиздавались старые переводы, появлялись новые. Судя по числу переизданий, каноническим надо считать вышеупомянутый перевод Фр. Коттенкампа (1839), с тех пор, разумеется,

исправленный и дополненный.

Из переделок «Путешествий Гулливера» для детей стоит отметить изящный и коротенький пересказ первых двух частей, сделанный недавно известнейшим детским писателем ФРГ Эрихом Кестнером.

Свифта, конечно, изучают и чтят в германоязычных странах, но о прямом или даже косвенном его влиянии **{177}** на кого-либо из немецких литераторов XX в. сказать почти нечего. Имя его не из тех, которые не сходили с языка или постоянно приходили на ум образованным немцам. Характерно, что на немецком языке о нем написано очень мало, хотя упрекнуть немцев в невнимании к английской литературе было бы несправедливо. Возможно, что сейчас это положение меняется: в ГДР, например, в 60-х гг. появился адресованный массовому читателю двухтомник хорошо подобранных и отредактированных переводов Свифта.

При всем том тема «Свифт в Германии» или даже «Свифт и его немецкие читатели в XX в.», несомненно, могла бы стать предметом специальной статьи, но в нашем, далеко не академическом обзоре мы ограничимся сказанным и перенесемся мыслью во Францию XIX в., где нас ожидает кое-что во французском вкусе.

В романе-трактате «Эмиль, или О воспитании» Жан-Жак Руссо ограничивает круг чтения своего подрастающего героя «Робинзоном Крузо». Сказано — сделано: роман Дефо в том или ином сокращенном пересказе был вложен в руки буквально каждому грамотному подростку — как в Германии, так и во Франции. Но подросткам этого оказалось мало, и для них принялись изготовлять дополнительное, столь же нравственное и столь же занимательное чтение. «Путешествия Гулливера» в переложении аббата Дефонтена выглядели опрятно, сравнительно безобидно и на треть состояли из проповедей добронравия. Правда, во Франции долгое время было принято охранять детей от беспочвенных фантазий, в том числе и от волшебных сказок, одною из которых почитали «Путешествия Гулливера».

Вероятно поэтому первый французский пересказ «Путешествий» для детей появился лишь в 1823 г., когда волшебные сказки начали понемногу проникать в **{178}** детский обиход. Издание это называлось «Удивительные приключения Гулливера, или Все самое интересное из путешествий Гулливера». Книга Дефонтена была ужата вдвое — и не только за счет его красноречия. Эта вторичная перегонка свифтовского текста изменила его уже почти до неузнаваемости, а ведь предстояли еще дальнейшие переработки, переделки и украшения на французский лад. Отправиться заново от английского оригинала никому и в голову не пришло: и «Гулливер для детей» (1843 и т.д.), и «Маленький Гулливер» (1869), и «Гулливер для юношества» (1876), и «Гулливер для малюток» (1892) — все это были дальнейшие трансформации текста Дефонтена, равно как и многие другие иллюстрированные (обычно плохо) издания для семейного чтения. Отсюда, вероятно, и проистекло чрезвычайно смутное и общераспространенное французское представление об этой книге Свифта — столь смутное, что назови кто-нибудь ее автора английским братом Гримм, во Франции было бы почти некому удивляться.

С детей, конечно, и спросу нет; но и взрослые французы, раз составив себе представление о «Путешествиях Гулливера» как о смеси веселой волшебной сказки с нравоучительным трактатом, упорно это представление лелеяли.

Казалось бы, что стоило сличить дефонтеновский текст с английским (который, кстати, много раз издавался в Париже и целиком, и в адаптациях)? Может быть, кто-нибудь это и делал, не оставляя, однако, следов в культурной истории Франции. Четыре вышедших в XIX в. более аккуратных французских перевода зачахли на корню, в первом же издании; зато творение аббата Дефонтена было в разных вариантах издано более ста семидесяти раз. Любопытно, что средний возраст французских читателей **{179}** «Путешествий Гулливера» все понижался и понижался, а конце концов они, соответственно препарированные, стали чем-то вроде букваря для самых маленьких.

Впрочем, многие маленькие и большие парижане не только читали о Гулливере, но и видели его на сцене: в первый раз — в 1813 г., когда на сцене цирка «Олимпик» труппа Франкони представила «веселую и роскошную пантомиму в трех актах с танцами и музыкой» — «Гулливер, или Мания путешествий». Попробуем разделить восторги зрителей.

Домочадцы англичанина Гулливера в тревоге: главу семьи донимает злой дух под видом попугая, который днем и ночью пронзительно кричит: «Гулливер, Гулливер, вояж, вояж». Под действием этих страшных слов Гулливер, как зачарованный, садится на корабль и плывет куда глаза глядят. Семья рыдает; но к ним на облачном фаэтоне спускается добрая фея и обещает вернуть беднягу из опасных странствий невредимым и расколдованным. Тем временем Гулливер со своим верным дикарем Пятницей, которого по-французски зовут Сапабор, попадает в скалистую местность, где из ужасного леса выходят лиллипутскпе армии и начинают сражаться с путешественниками. (Роли малюток исполняют детишки; в роли же их генерала, как о том оповещает программа, — карлица ростом в один фут шесть дюймов.) Напасти следуют за напастями: появляются великаны, «грот мудрецов», полуодетые и соблазнительные амазонки, имеющие виды на Гулливера, наконец, злополучные странники попадают в лапы «ягу», людей с лошадиными головами. Гулливера с Сапабором, наполовину зажаренных, выручает и переправляет по воздуху домой вышеупомянутая добрая фея; все, включая лиллипутов, амазонок, «ягу» и даже посрамленного злого духа, пляшут и распевают куплеты.

{180} Но еще большие толпы стекались в 1826 г. на представление «Гулливер, пантомима в двух картинах». Здесь французский моряк Гулливер со своим верным Пятницей Лябуссолем опять, танцуючи, набредают на великанов, и все пляшут и поют злободневные куплеты. В газетах писали, что каждый прямо-таки обязан пойти и увидеть «великого Мазурье» в роли Лябуссоля.

Было еще несколько представлений в том же роде; но особенно нашумела и долго вспоминалась «Фантастическая пьеса в четырех актах и тридцати картинах» «Путешествия Гулливера» (текст Шатле, музыка Оффенбаха), поставленная в 1867 г. Танцуя и распевая куплеты, Гулливер посещает не только «Лиллппюти» и «Страну великанов», но также поднимается в корзине на остров «Ляпюта» и наблюдает там королевский дворец, воздвигнутый из шариков и кубиков, пробирается по знойному Индустану и попадает в «королевство лошадей», где люди с лошадиными головами поют и пляшут вместе с ним. Суровый литератор Жюль Валлес, будущий коммунар, заметил в печати, что музыка Оффенбаха и текст Шатле не имеют ничего общего со свифтовским «Гулливером». Но именно так желала понимать и вспоминать «Путешествия Гулливера» французская публика XIX в.

Этому пониманию ничуть не помешала вся та масса сильных выражений, которые взыскательная французская критика то и дело обрушивала на Свифта. В сознании читателей образ пресловутого декана, мучителя прекрасного пола и демонического эгоиста, жил отдельно от «Путешествий Гулливера». Правда, иной раз о Свифте звучали и другие слова: например, мадам Дюффренуа в 12-м томе «Избранной библиотеки для дам» (1820) уверяла, что произведения английского сатирика «имели целью обеспечить счастие его отчизны и сделать **{181}** людей более добродетельными». Но ее кроткий голос был тут же заглушен редактором знаменитого «Журналь де деба» мсье Филаретом Шалем. «В его произведениях, — гремел Шаль, — нет ни одной вспышки энтузиазма, ни одного грациозного образа и ни одного меланхолического чувства». Шаль «счастлив сообщить», что этот «человек необычайного уродства, который заставил умереть от горя двух женщин столь же прекрасных, сколь он был уродлив, столь же нежных, сколь он бесчувствен», — этот человек заслуженно сошел с ума.

В этом роде трактовали личность и произведения Свифта многие именитые французские критики XIX в. Аргументы по женской линии (кстати, не имеющие ничего общего с действительностью) повторялись от раза к разу в чувствительном, а то даже в гривуазном ключе. (Так, изысканный эссеист Поль де Сен-Виктор чрезвычайно игриво описывает, как «прелестные нимфы» изнемогали от целомудрия в объятиях «старого импотента».)

Мы не будем составлять коллекцию пошлостей, написанных во Франции XIX в. врагами (и, увы, друзьями) Свифта. Но упомянуть о них приходится, потому что непосредственно из них вытекают самые авторитетные французские высказывания о сочинениях декана. Ему ставили единицу за поведение, в особенности за поведение с женщинами, и в приливе галантности объявляли и самое чтение злостных памфлетов этого монстра чуть что не излишним. Причем это делали не только завзятые специалисты по альковным делам, вроде Сен-Виктора, но и такие лидеры французской критики, как Ипполит Тэн. Мало кто имел подобное влияние на все разновидности французского общественного мнения. Что касается суждений об Англии, то тут каждое его слово было последним. Свифта Тэн пригвоздил **{182}** посредством этюда, впервые напечатанного во влиятельнейшем журнале «Ревю де дё монд» (1858) и затем вошедшего в его труд по истории английской литературы.

Этюду Тэна нельзя отказать в некоторой живости, но глубоким или оригинальным назвать его трудно. Тэн попросту пересказал на французский лад упоминавшуюся теккереевскую лекцию (незадолго до того опубликованную). Впрочем, некоторые живописные факты были почерпнуты, видимо, из скоттовской биографии Свифта. Между подходом Теккерея и Тэна есть, однако, существенная разница: первый относится к сочинениям Свифта с нескрываемым восхищением, второй выражает по их поводу нечто вроде брезгливого соболезнования. С одной стороны, оговорено, что «по оригинальности и силе своего творчества Свифт представляется равным Байрону, Мильтону и Шекспиру». Но когда доходит до дела, Тэн никак не может обнаружить в его творчестве ничего великого: это всего лишь ряд желчных выходок эгоиста и честолюбца. Человечество явно обошлось бы и без них; впрочем, если на то пошло, то они местами даже забавны и могут служить типичными образцами английского юмора («выражают чрезвычайно рельефно дух и характер своего народа»).

Резолюция Тэна сохраняла силу многие десятилетия: ее лишь обвешивали гирляндами критического красноречия. Этим занимался, например, вышеупомянутый Поль де Сен-Виктор, арбитр по должности — генеральный инспектор изящных искусств при Наполеоне III. Свою знаменитейшую книгу «этюдов истории и литературы» «Люди и боги» (1868) он завершает этюдом о Свифте, где разделывается с личностью и сочинениями великого писателя на двадцати страничках.

«В своем Гулливере, — сообщает он, — Свифт создает ягу, род гнусных и свирепых обезьян, сравнивает их **{183}** с людьми и отдает им предпочтение. Его великаны и его карлики равно нас унижают: одни — низводя на уровень насекомых, другие — пародируя нашу жизнь под видом муравейника. Это путешествие Гулливера по сути более печально, чем странствие Данте по аду. Тщетно вы будете искать здесь просвета и устремляться к небесам. Разве можно уподобить это воображаемому плаванию Пантагрюэля Рабле?.. Гулливер Свифта путешествует без надежды и без идеала. Химерические страны, в которые он попадает, являют ему пороки человечества — то чудовищно грубо, то в издевательской копии. Он познает, что человечество неизлечимо и неисправимо, что все лишь тщета и бедствие. Открытая им вселенная—не что иное, как громадная система преисподних и тюрем, вращающихся в пустоте».

Тут есть свой резон: Гулливер действительно обнаруживает много неприглядного — и даже не в надзвездных «преисподних и тюрьмах», а в обыденной человеческой жизни. У него есть свои основания для пессимизма, хотя пессимизм его вовсе не навязывается читателю. Можно, например, признать, что люди и вправду могут иногда не выдерживать сравнения с йэху, и, принявши этот прискорбный факт к сведению, сделать из него свои выводы. Но Сен-Виктор требует, чтобы ему помогли заранее обосноваться в «небесах», чтобы литература освящала и превозносила его жизнь, тешила бы его величественными иллюзиями и успокоительными россказнями. Именно над таким самодовольством и издевался Свифт: сатира дошла по адресу.

Разгневанный Сен-Виктор заключает: «Свифт велик в Англии; в Дувре он уже меньше, а в Кале он самого обычного роста... Его талант, вызывающий восторг англичан, внушает нам лишь чувство печального недоумения». Он решительно отказывает **{184}** «этому грубому фетишу» в праве на место в Пантеоне.

Свифту и в самом деле незачем находиться в Пантеоне имени Поля де Сен-Биктора; но такая и тому подобная критика имела более реалистические последствия. Надолго установился своеобразный стандарт безответственности в суждениях о Свифте и в изданиях его произведений: стандарт отнюдь не только французский, а западноевропейский. Распростимся на этом с прекрасной Францией и возьмем в руки итальянскую книжку «Пессимисты», опубликованную в Палермо в 1902 г.

Имя автора — Андреа Лофорте-Ранди — не говорит нам ничего; зато большая статья о главном из всех пессимистов говорит о многом. Не стоит придираться к выражениям «оглядывает очами тигра», «хватает Минерву за ноги» и т. д. Допустим, что это простительная сицилианская горячность. Видимо, та же горячность диктует автору цельную теорию, что Свифт был сатириком не иначе как по случаю скрытых телесных недостатков. Автор представляет себе его несчастную судьбу, и все в нем кипит от сочувствия.

(Собственная тут только горячность: теория была уже во французском — а частью и в английском — обращении.) Попробуем также примириться с утверждением автора, что Свифт полагал жизнь «галлюцинацией наших чувств, а следовательно, и духа» и написал «Путешествия Гулливера», дабы проиллюстрировать эту любопытную идею.

Но вот автор начинает пересказывать отдельные эпизоды книги Свифта: «...эта прекрасная дочка короля гигантов, которую все тамошние поэты превозносили до небес за прелесть ее кожи, глазкам крохотного Гулливера предстает грязной, зловонной и морщинистой бабищей». Тут уже ясно, что, может быть, автор когда-нибудь и видел своими глазами «Путешествия Гулливера», но читать их не стал, а предпочел написать о них книжку.

{185} Теперь бросим взгляд на английские издания «Путешествий Гулливера» в XX в.

Обследование их было проведено французом П. Даншеном в 1958 г. Оно показало, что из восьми изданий аутентичными можно считать только два, одно из которых библиофильское; другое, правда, массовое, но опубликованное лишь в 1940 г. Еще два издания (кстати, оксфордские) следует признать текстологически беспомощными и беспринципными, искажающими текст настолько же, насколько его искажало первое издание 1726 г., вызвавшее суровые нарекания Свифта. Остальные четыре, находящиеся в обращении до сих пор, предлагают читателю текст искромсанный и переиначенный по прихоти того или иного редактора (Укажем для контраста два самых недавних аутентичных И прекрасно прокомментированных издания «Путешествий Гулливера» на английском языке: в новом собрании прозаических сочинений Свифта под ред. Г. Дэвиса (Оксфорд, 1965) и американское (Нью-Йорк, Нортон, 1961) — ред. и комм. Р. Гринберга.).

Лидирует среди них научнейшее (оксфордское) издание под редакцией магистра искусств, доктора филологии А. Б. Гау. Щадя нравственность читателей (в том числе студентов и научных работников), А. Б. Гау счел нужным выбросить из «Путешествий Гулливера» абсолютно все, касающееся физиологических отправлений, неблагообразных предметов и веществ и вообще телесного облика человека. В этой книге Гулливер не тушит лиллипутского дворцового пожара, не прыгает через необъятную коровью лепешку, не имеет дела с фрейлинами-исполиншами, не наблюдает изъязвленных гигантских нищих, на него не кидается самка йэху и т. д. Выброшенные пассажи потянули за собой другие: общим счетом не хватает примерно 15 страниц из 200, не **{186}** говоря уже о несметном количестве смягченных, модифицированных, завуалированных фраз. Остроты теряют соль, обличения становятся голыми и банальными, лейтмотивы исчезают, смысловые связи нарушаются.

Редакторам это нипочем; как не без горечи замечает П. Даншен, «неважно, что текст теряет смысл: достаточно, чтобы при беглом чтении ничего не показалось скандальным». Он же справедливо указывает на возникающий порочный круг: «Путешествия Гулливера» чистят из отвращения к жестокому реализму Свифта, но эффект выходит обратный. Вместе с «непристойностями» исчезает или слабеет комизм, выхолащивается юмор, и текст действительно становится устрашающим в новообретенной прямолинейности и наготе. Наказав таким образом читателей и самих себя, редакторы и авторы предисловий еще пуще сетуют на свифтовскую мизантропию, цитируя в доказательство кого-нибудь из обличителей Свифта.

Разумеется, можно напечатать (и напечатали) добротные издания «Путешествий Гулливера» с толковыми комментариями и прекрасными предисловиями. Но сделанного не исправишь: за сто лет определенное читательское представление о книге успело сложиться и окостенеть. Можно смело сказать, что как великое произведение литературы «Путешествия Гулливера» для английского читателя не существуют. Всем более или менее известно, что книга Свифта есть детское приключенческое чтение; прочее в ней — от лукавого. (Это примерно то же самое, что считать «Братьев Карамазовых» растянутым детективом.)
О «сатире» упоминается больше для порядка; острия этой «сатиры», ее всепроникающего характера обычно не чувствуют. Там же, где это острие торчит слишком явственно, его осторожно обходят и показывают на него пальцем: вот она, легко объяснимая **{187}** психологически, мизантропия Свифта!

Любопытно, что когда о «Путешествиях Гулливера» бросают походя какую-нибудь «общеизвестную истину», она, как правило, оказывается сто раз опровергнутой пошлостью, вроде того, что два последних путешествия «исторглись из него (Свифта.—*В. М.)* на склоне лет, после жизни, искалеченной постоянными разочарованиями и болезнями» или что в первых двух «Свифт безмятежно смеется над своим героем».

Все это, конечно, не совсем так: о Свифте вообще и о «Путешествиях Гулливера» в частности беспрерывно пишутся статьи и книги, и количество до некоторой степени переходит в качество. Однако даже среди узких специалистов царит по отношению к Свифту такой неимоверный разброд, что мы куда чаще встретим полемику об изучении четвертой части «Путешествий», чем собственно их изучение. Последнего слова до сих пор не сказано — вероятно, и не может быть сказано. Ясно только, что однозначное решение здесь неуместно, что перед нами многоплановое ироническое построение.

Именно благодаря упомянутому стандарту безответственности в суждениях о Свифте декан стал излюбленным клиническим объектом для ученых и неученых психоаналитиков Запада. *(выделено нами, ldn-knigi)*
Приверженцы Фрейда вообще с литературой не стесняются и во мгновение ока проникают в сексуальные глубины подсознания любого автора; но уж разъяснить Свифта им, казалось, сам бог велел.

За дело взялись немцы, и вот уже «Интернационале цайтшрифт фюр психоаналитик» (1927) возвещает, что «гулливерные фантазии» Свифта взросли на почве глубокой сексуальной озабоченности. Некий Адольф Хайденхайн в 1934 г. пишет «О человеконенавистничестве: патографическое изыскание по поводу Джонатана Свифта». Англичанка Эва Рид исследовала декана еще **{188}** более обличительно: трудом «Свифт, или эгоист» она с несомненностью доказывает, что в «Путешествиях Гулливера» явственно «маниакально-депрессивное заболевание литературного гения».

Наконец, американец Бен Карпман поистине приоткрыл завесу свифтовского творчества. Оказалось, что «Путешествия» могут рассматриваться как «невротическая фантазия, сосредоточенная на труположестве». Автор ее выказывает «множество извращенных склонностей, характерных для задержки на анально-садистической стадии развития сексуального либидо».

Не лишне будет заметить, что фрейдистский жаргон обволакивает

обыкновенно самые примитивные, скороспелые и сентиментально-обличительные суждения о Свифте. Суть дела мы можем найти у какого-нибудь заштатного литературного критика XIX в.; если же понадобится фрейдистская подливка, то можно обратиться к «Сайкоаналитик ревью» и почерпнуть из статьи «Современный Гулливер: опыт о труположестве». У фрейдистов все значит примерно одно и то же, а поэтому к чему особенно вникать в «разъясняемое» произведение?

Англоязычная критика XX в. занимается Свифтом очень много и очень специально. В этом есть свои достоинства и свои недостатки: в то время, например, как между пятью-шестью специалистами идет замысловатый спор о степени влияния на Свифта эмпириков, Гоббса или Беркли, уровнем ниже о нем может быть сказана любая избитая пошлость (примеров таковых мы приводили достаточно). Больше того, та же пошлость, усвоенная почти бессознательно, может быть внутренним фоном высокоспециального исследования: так, например, идея о злобном и патологическом честолюбии Свифта как источнике его сочинений преследует **{189}** Джона Миддлтона Мерри на 500 страницах его монографии. Нивесть кем и когда принятое решение о «пессимизме» Свифта вызвало массу тончайших и тщательнейших истолкований этого «пессимизма». Эти истолкования получают дополнительную прелесть, когда критики начинают извиняться перед Свифтом за неспособность людей стать гуигнгнмами или заклинают его поверить, что для йэху еще не все потеряно.

Бесспорным достижением критики надо считать то, что она все ближе присматривается к разносторонней иронии Свифта и все основательнее подкрепляет вечно новую мысль, что в его лице мы имеем дело с великим писателем, т. е. с писателем, который ни при каких условиях не потеряет своей актуальности.

Критика менее специальная, увы, до сих пор оставляет желать многого. Когда известнейший и влиятельнейший в свое время английский писатель Олдос Хаксли сообщает, что «величие Свифта заключено в интенсивной, почти безумно яростной «ненависти к внутренностям», которая есть сущность его мизантропии и которая лежит в основе всех его сочинений», то остается только порадоваться, что «величие» и влиятельность самого Хаксли — факт уже сравнительно отдаленного прошлого. Когда крупнейший английский поэт и критик XX в. Т. С. Элиот, перевернувший или обновивший многие читательские представления, мимоходом замечает, что Свифт «ненавидел самый запах человека» и что это происходило от «мелочности... греха гордыни и жажды власти», то остается только пожалеть, что он не нашел времени заняться Свифтом серьезнее и предпочел высказать одно из общераспространенных мнений; мнений, с которыми мы на этом и распростимся.

{190}

Часть пятая

РОССИЙСКОЕ ПРИСТАНИЩЕ

*

В начале 70-х гг. XVIII в. российская просвещенная самодержица Екатерина II увствовала себя еще надежно и уютно, вовсю переписывалась с французскими энциклопедистами и поощряла домашние просветительские начинания. Она вводила в моду сатиру, разумеется, в пределах дозволенного, но покамест эти пределы **{191}** всемилостивейше не указывались. В первом же номере ее собственного сатирического журнала «Всякая всячина» всем и каждому было дозволено издавать такие же, при желании даже анонимно и без всякой цензуры. Охотники тут же выискались и оказались, на взгляд монархини, чересчур остры на язык. Одни журналы закрывались, возникали другие. Образцом для этих русских изданий — прямо или опосредствованно — служила английская журналистика начала XVIII в: либеральные «Болтуны», «Зрители», «Опекуны» — публикации тогдашних друзей и поклонников доктора Свифта, выходившие не без его участия.

Мудрено ли, что эта сатирическая волна выносит на поверхность имя и произведения Свифта? В 1772 г. в Санкт-Петербурге силами «Собрания старающихся о переводе книг, напечатанных при Императорской Академии наук» издается первый русский перевод «Путешествий Гулливера». Полное его название — «Путешествий Гулливеровых книга, переведена с французского языка на Российский Коллегии иностранных дел переводчиком Ерофеем Каржавиным». «Содержит в себе» эта книга «Путешествие в Лиллипут», и в «Бродинягу», и «в Лапуту, Бальнибарбы, Глубдубриду, Лугнагу и Японию», и наконец, «в Гуингмскую страну»: четыре весьма опрятно напечатанных томика.

К тому же и текст был переведен с толком и пониманием: в труде «Коллегии иностранных дел переводчика» мы редко найдем ошибки, выверты, неуклюжие или корявые фразы. Сказалось, конечно, что Каржавин трудился над Дефонтеном, а не над Свифтом, т. е. над книгой перекроенной и слогом переиначенным порой до неузнаваемости. Но любопытно заметить, что лощеный слог Дефонтена в русской передаче становится грубее и наивнее, детали описаний выглядят рельефнее и отчетливее, и **{192}** «вещественное остроумие» Свифта, хоть и в сильно сглаженном виде, но может дойти до русского читателя более, нежели до французского.

Когда, например, Гулливер с дурацким воплем вытянул блефускуанский флот на лиллипутский берег, здешний император, как известно, «тут же пожаловал мне титул нардака». Ирония очевидная, но в таком переводе не смешная. У Каржавина читаем: «Сей Государь... тот час пожаловал меня в нардаки». (И эту, и нижеследующие цитаты читатель может сам при желании сравнить с переводами, которые в ходу ныне, и рассудить, что ему покажется забавнее. Разумеется, тут надо учитывать, что на Каржавина работает архаический слог: но почем знать, не надо ли и в самом деле слегка архаизировать язык перевода?

Английский текст выглядит сейчас достаточно архаично.) Вот лиллипутское обвинение Гулливера: «Оказанные вами заслуги... суть великия и важныя государственныя преступления... когда ж вы были в состоянии утушить вдруг пожар, поливая пузырною водою покои Ее Величества, то в другое время вы можете таким же способом потопить весь дворец и город, имея столь великую и способную трубу для оного».

Явственна становится не только гротескность наблюдений, но и комическое положение самого наблюдателя — например, в укоризненном пассаже о бробдингнежских мухах: «Царство Бродиняганское претерпевает в летнее время великое от мух беспокойство; и сии негодные твари, которые там величиною с нашего жаворонка, журча непрестанно около ушей моих, несносно меня беспокоили во время обеда: часто садилися они на кушанье мое, и по невежеству своему на оном испражнялися».

Словом, русскому читателю повезло: он имел возможность с самого начала усвоить «Путешествия Гулливера» не как нравоучительный трактат или мизантропические **{193}** излияния, а как пародийно-комическую повесть. Разумеется, передача через Дефонтена сильно портила дело; но учтем и то, что перевод с английского на русский был бы в XVIII в. почти уникальным явлением и, надо полагать, произвели бы его с устрашающей малограмотностью; так что нет худа без добра.

Перевод Каржавина не вызвал заметных откликов, если не считать упоминания о Свифте в масонском журнале «Утренний свет» за 1780 г. Там, в статье «Путешествие добродетели», имелась глава «Подлые»: речь шла о Свифте, Ларошфуко и Гельвеции. Хотя журнал, издававшийся Н. И. Новиковым, был вехой русской философской мысли и органом просветительства, но, как мы могли заметить ранее, Свифт просветителям обычно не импонировал и в суждениях о нем они были не на высоте. Тем не менее именно в печатне того же Новикова в Университетской типографии в Москве, в 1780 г. вышло второе издание каржавинского перевода.

Третье воспоследовало лишь в 1820 г. На титульном листе вместо имени переводчика появилось лаконичное и лживое заверение: «Перевод с Английского». Это был все тот же перевод Е. Каржавина все с того же перевода Дефонтена; правда, над ним успел изрядно поработать Цензурный комитет, и отмеченной нами грубоватой наивности весьма поубавилось.

И все же ее оставалось достаточно, что подтверждает один эпизод из ссыльной жизни Герцена. В конце декабря 1838 г. он послал к рождеству детям своего друга А. Л. Витберга несколько книг, и среди них «Путешествия Гулливера» (скорее всего, именно в издании 1820 г.). В ответ он получил отповедь. Витберг благодарил за посылку, «но за книгу Люденьке, то есть Голеверово путешествие, должен пожурить, это и женщине читать — так приходится иногда краснеть, верно вы забыли совсем **{194}** содержание ее, которое могло нравиться вам только по прежнему духу — а теперь, верно, нет». Герцен переживал тогда кратковременный религиозный порыв и мог бы смутиться упоминанием о «прежнем духе»; но нет: «Ну, — пишет он, — душевно сожалею о книжке Люденьке... право, забыл содержание, а помнил, что оно сочинение Свифта и детское».

Не приходится сомневаться, что Герцен действительно «забыл содержание».

Ни о Свифте, ни о Гулливере Герцен, судя по сочинениям и письмам, более ни разу ни вспоминал; впрочем, как-то он походя заметил насчет внешности двух французских политических деятелей:

«...они могли бы чудесно играть в гулливеровом путешествии». Возможно, в Париже он видел одну из описанных нами «гулливеровских» инсценировок.

В отличие от него, Белинский помнил и чтил Свифта и при случае упоминал (правда, очень бегло) о его «значении во всемирной истории литературы». Белинский был невероятно начитан; кроме того, он жил литературным трудом, и еще в 1833 г. ему довелось переводить для журнала «Молва» французский эссей «Некоторые черты из жизни доктора Свифта». Видимо, с той поры он и возымел к нему пиетет.

Во второй статье цикла «Сочинения Александра Пушкина» встречаем фразу: «философские повести Вольтера и юмористические рассказы Свифта и Стерна — вот истинный роман XVIII в.». Памфлеты и другие сочинения Свифта вряд ли могут быть по всей строгости названы «юмористическими рассказами», но это не мешает весомости выраженной мысли. Интересно и то, что Свифта в это время никто рядом со Стерном не ставил, а тема «Свифт, Стерн и проза XVIII в.» всерьез возникает лишь в литературоведении XX в. К сожалению, у Белинского она не развернута, но даже самый намек на ее **{195}** возможность весьма ценен. Ценно также и определение свифтовского таланта как «иронии отрицания».

Если бы Белинский, при его влиянии на русское литературное и общественное мнение, посвятил Свифту хотя бы один абзац, это стало бы отправным пунктом российского свифтоведения. Он не сделал этого, но свое благоговейное отношение к Свифту выразил вполне ясно.

Из русских классиков XIX в. чаще других упоминал имя и книгу Свифта Л. Н. Толстой. Судя по этим упоминаниям (в числе прочего, по написанию «Гюливер»), Толстой читал «Путешествия Гулливера» по-французски, однако безусловно оценил и «вещественный» свифтовский вымысел, — недаром он то и дело сравнивает себя с Гулливером в лиллипутских путах — и убойную силу его иронии. Особенно привлекала Толстого родственная ему по духу (ср., например, «Воскресение») свирепая «наивность» четвертой части — нагие обличения войны, политики, юрисдикции, медицины. Эти пассажи Толстой очень хотел популяризировать и не раз советовал печатать обличительные подборки из Свифта в дешевых изданиях, даже сам принимался за составление таких подборок, впрочем, до конца дело не доводилось.

Прямое родство талантов Свифта и Щедрина тоже не прошло незамеченным: на нем настаивал Тургенев, прочтя «Историю одного города». Щедрин узнал об этом и ознакомился с «Путешествиями Гулливера» (до того не читанными), но нашел их непонятными и неинтересными — по крайней мере, без пояснений. Сравнивали со Свифтом и барона Брамбеуса, то бишь О. И. Сенковского, но это уж больше для внесения мрачного колорита.

Итак, Свифт вместе со своей книгой занимал до поры почетное место где-то на периферии русского читательского сознания — не более того. Интерес к нему пробуждается и усиливается в конце 50-х — начале 60-х гг., в **{196}** эпоху до- и послереформенной обличительной сатиры. Перевод статьи Ф. Джеффри в «Библиотеке для чтения» (1858) сигнализировал об этом интересе; но для разжигания его явно не годился. Открывало статью заявление, что «писатели времен королевы Анны»

заслуженно забываются, ибо «они, как поэты, не имели силы или величия фантазии, не знали пафоса, энтузиазма; как философы, не имели глубины мысли, оригинальности взгляда, обымчивости ума... Они проницательны, ясны, щеголеваты и благоразумны; но по большей части холодны, робки и поверхностны». Из числа прочих Свифт «...может быть, менее всех имел чувства и фантазии».

О «величайшем из его произведений» Джеффри замечает: во-первых, что «если б это сочинение не имело своею конечною целью сатиры, оно казалось бы пустою ребяческой выдумкой»; во-вторых, что «главнейшие основания сатиры, вся житейская мудрость, заключенная в этом рассказе, кажутся нам довольно вульгарными». На десерт редакция «Библиотеки для чтения» ручается за ум, добросовестность и беспристрастность Френсиса Джеффри.

К сожалению, эта статья отповедей в российской печати не вызвала; более того, хотя Джеффри грубо передергивал каждый второй факт, статья его отчасти служила ориентиром и источником сведений для последующих русских критиков, и это при том, что никто из них не был согласен с оценками Джеффри.

Так, на чрезвычайно скудном и невыверенном фактическом материале написана много послужившая к популярности Свифта в России статья в знаменитой «Искре» В. С. Курочкина (1865, № 9-11, 14) за подписью Пр. Преображенского (Автор статьи — брат издателя «Искры» И. С. Курочкин.). Автор пламенно защищает и **{197}** самого Свифта, и «могучие образцы смеха», им оставленные. Возможно, что автор знаком не только со статьей Джеффри, по сказывается прежде всего это знакомство. Он принимает на веру выдуманный облик Свифта и лишь старается благоприятно объяснить компрометирующие обстоятельства. Когда, например, Свифт «стал писать политические брошюры в защиту действий Болинброка и Гарлея — ненавистных народу» (?!), то это могло быть вызвано, «кроме подлости и желания стать епископом — минутным увлечением парадоксальною стороною чего бы то ни было». Вообще Свифту надо сделать скидку на то, что «при жалкой скудости данных, до которых бы наука доработалась», он «томился болезнью духа от напрасного желания разрешить те жизненно-метафизические вопросы, в которых более всего заинтересован человек как личность». Пр. Преображенский имел самое туманное представление о времени, деятельности, заработках и даже самой профессии Свифта. Все цифры попросту придуманы, даты перепутаны. Когда мы читаем, что «с этих пор (с каких, не указано, но по контексту с 1713 г.— *В. М.)* Свифт навсегда распростился с служебною деятельностью и, живя приватным человеком, стал известен всему городу своим хлебосольством» или что после 1728 г. Свифт «нередко предпринимал поездки в Англию, и в это-то время особенно близко сошелся с Попе», — можно только пожалеть, что автор оказался не на высоте собственного замысла.

А замысел был серьезный, как можно судить по весьма дельным замечаниям, рассеянным среди недостоверных и перетолкованных фактов. Тонко подмечено, например, что Свифт «в одном отрицании и сатире мог себя обманывать деятельностью» или что «Путешествия Гулливера» «замечательны... именно их обширностью захвата жизненных вопросов». Сугубая ценность статьи Пр. **{198}** Преображенского в том, что для образца переведены (скорее всего, с немецкого) две главы из «Путешествия в Лапуту», один памфлет и десяток афоризмов Свифта.

В этом смысле «Искра» значительно опередила свое время, ибо из трех новых русских изданий «Путешествий Гулливера» все три были сокращенными переводами с французского. Издание 1861 г. горделиво оповещает, что перед нами «перевод с нового французского издания, исправленного и дополненного аббатом Лежёном». Издание 1868 г.— беглый, корявый и произвольный пересказ первых двух частей с четырьмя рекордно плохими цветными литографиями. В 1869 г. был издан якобы «перевод с английского»: но в нем на каждом шагу легко обнаруживаются перевранные или переработанные дефонтеновские пассажи. Правда, закончить перевод автор решил уже совершенно по-своему: «Впоследствии однако ж мои мысли приняли другой оборот, и я сделался обыкновенным человеком, хотя все-таки остался отчасти нелюдимом». Возможно, однако, что это тоже откуда-нибудь с французского.

Все это были жуликоватые и халтурные коммерческие поделки, торопливая спекуляция на имени «новооткрытого» автора. Всерьез же познакомить русского читателя со Свифтом взялись самые радикальные представители левого крыла российской интеллигенции. В начале 70-х гг. был подготовлен к печати и набран весьма представительный однотомник Свифта — 484 страницы точных, строгих и удобочитаемых переводов с английского. Существует версия, что составителем и переводчиком однотомника был знаменитый русский революционер Герман Лопатин, незадолго до того опубликовавший в России свой перевод «Капитала» К. Маркса. Версию эту пока трудно толком подкрепить или опровергнуть: цензура задержала однотомник, и в нескольких случайно **{199}** уцелевших его экземплярах нет ни титульного листа, ни каких-либо иных прямых указаний на личность переводчика (или переводчиков). Косвенные указания, поддерживающие версию, также недостаточны. В обрубке книги нет ни предисловия, ни комментариев: возможно, что они были и что они-то и послужили причиной цензурной акции. Впрочем, полные свифтовские тексты могли напугать цензуру — особенно синодальную — пуще всяких комментариев; может быть, именно отсутствие таковых и вызвало ужас. Так или иначе, но этого однотомника русская публика не увидела, а лучшего случая оценить Свифта в России долго еще не представилось.

Но отсутствие серьезного издания Свифта уже ощущалось как культурный изъян. В 1877 г., в журнале «Вестник Европы», появилась большая, очень большая статья о Свифте Алексея Веселовского, известного историка иностранной литературы. Статья была написана в расчете на самые широкие круги образованных читателей (таков был и диапазон самого журнала); автор намеревался заново и тщательно растолковать публике значение личности и творчества Свифта.

К сожалению, предпосылки Веселовского не благоприятствовали этой цели. Опасно и сомнительно уже исходное утверждение, что перед нами «сплошная ткань резких противоречий», в которой «только тонкий психологический анализ в состоянии разобрать едва видимые нити». Еще опаснее предварительное уведомление: «Когда один из лучших объяснителей Свифта (Джеффри или Тэн. — *В. М.)*... называет его чисто демоническим существом и во всем его злорадном отношении к человечеству видит нечто дьявольское, — это дает... приблизительно верное понятие об общности характеристических свойств Свифта».

Веселовский пространно знакомит россиян с **{200}** пересудами о личной жизни, переживаниях и неудачной карьере Свифта.

О произведениях его говорится довольно-таки вскользь, и чаще всего это раскавыченные или пересказанные тезисы английской или французской критики, вроде вышеприведенного сообщения о «дьявольском» и «чисто-демоническом». Хотя Теккерей и назван здесь Тэккерманом, но тень его явно стоит за спиной автора.

Концы с концами не сходятся, и особой «дьявольщины» в произведениях Свифта Веселовский не обнаруживает. Так, из «Путешествий Гулливера» он выводит, что «главною целью Свифта было представить картину английской жизни прошлого столетия» и что «картина... выходит возмутительная: всюду умные кони (т. е. народ) находятся в зависимости от гадких бесстыдных Jahoos» (У Свифта Yahoos.). После этого трудно ручаться, что Веселовский читал «Путешествия Гулливера» в оригинале; по критической же литературе он составил себе о них туманное представление. Он даже намекает, что просто так читать их вроде бы и ни к чему: «чтоб понять во всей общности значение настоящей сатиры, необходимы были бы подробные подстрочные примечания и объяснения при появлении каждого нового лица и каждой новой подробности быта». Такие примечания («ключи») трудно найти даже по-английски, а без них «остается только внешнее впечатление остроумного осмеяния человеческих пороков, притом такого забавного осмеяния, что обыкновенно «Гулливера» — за исключением немногих сцен и подробностей — считают хорошей книгой для детского чтения».

После этого, казалось бы, странно, что не только детям, но и взрослым «Путешествия Гулливера» преподносили в радикально переработанном виде; но тот, кто знаком с полным текстом книги, странности в этом не **{201}** находит. Печально лишь, что читатели «Вестника Европы» получали, мягко выражаясь, превратное представление о книге, еще недоступной им в добросовестном русском переводе.

Тем не менее статья Веселовского подготовила такой перевод: в 1881 г. вышел под ред. В. Чуйко сборник «Памфлеты Свифта», куда вошло, отдельно от прочих, «Путешествие в страну гуигнгнмов». В 1889 г. издатель Кушнерев опубликовал «полный перевод с английского» «Путешествий Гулливера» (перевели В. Яковенко и П. Канчаловский). К сожалению, переводчикам подвернулся сокращенный английский текст. Дорога была проложена: к началу 900-х гг. переводы последовали один за другим. С критикой дело обстояло хуже: в 1891 г. тот же В. Яковенко в первой русской монографии о Свифте замечал: «русская критика вовсе не занималась и не занимается Свифтом». Сама эта монография проникнута сочувственно-восторженным отношением к своему предмету; и хотя Яковенко принимает концепцию «великого Тэна», но у него к этой концепции подключено немало иных фактов и толкований жизни и творчества Свифта, взятых из более надежных источников.

Русская критика продолжала безмолвствовать о Свифте еще лет тридцать. В упоминаниях о нем сквозил обычно доброжелательный и уважительный тон, в чем можно усмотреть пунктиром идущую еще от Белинского традицию.

(Правда, «История русской литературы» под ред. Овсянико-Куликовского резко отзывается о «человеконенавистничестве» Свифта, чуждом литературе российской.) В читанных в 1914 г. лекциях об английской литературе проф. М. Н. Розанов решительно берет Свифта под защиту: он хоть и согласен, что «никогда человеческие отношения не выставлялись в более мрачном свете, чем в этой (4-й.— *В. М.)* части

«Путешествия **{202}** Гулливера», но на вопрос: «Преследует ли Свифт цель исправления людей или огульного осуждения их», отвечает твердо, что в «Путешествиях» налицо не более чем «негодующее бичевание пороков и искажений» и что оно «подсказано святым чувством негодования против... опутывающей человечество массы зол».

К этому времени русские читатели могли уже и сами искать ответов на подобные вопросы в книге Свифта, Первый ее действительно полный перевод (А. Шишмаревой) выпущен в 1902 г. издательством т-ва «Народная польза» в серии «Домашняя библиотека» «с биографией автора, примечаниями и 160 иллюстрациями Г. Мартена, Г. Коля и Ш. Брока». *(Иллюстрации Г. Мартена см. у нас, из книги Свифта на литовском. ldn-knigi)*

Иллюстрации разнородны и большей частью аляповаты, перевод тоже нельзя назвать произведением искусства, хотя он вполне добросовестен. С ним успешно соперничал вышедший до революции тремя изданиями перевод М. Никольского: но этот последний то ли был сделан с сокращенного английского издания, то ли урезан в «неприличных местах» самим переводчиком. Язык здесь чище, чем у Шишмаревой, но лучшим дореволюционным переводом следует признать анонимный и ненапечатанный — в загубленном цензурой издании 70-х гг.

Попутно вышло более десятка детских переделок «Путешествий», иные — многими изданиями. Все они была сделаны кое-как, спотыкающимся языком, без внимания к слогу и образности оригинала, но за неимением лучшего имели успех у маленьких читателей: недаром иной раз в один год выходило два или три таких перевода!

Свифт был одним из первых писателей, рекомендованных А. М. Горьким после революции для массового издания. В 20-30-х гг. появилось несколько новых квалифицированных переводов «Путешествий Гулливера» и «Сказки бочки». В предисловии к **{203}** последней А. В. Луначарский утверждал, что Свифт «впередсмотрящий», один из первых критиков буржуазного прогресса и капиталистической действительности. Этот тезис и соответствующая марксистская историческая интерпретация сатирической направленности творчества Свифта — особенно «Путешествий Гулливера» — лежат в основе советских статей и книг о великом английском писателе — предисловий А. Аникста, С. Бабуха, К. Бархина, Е. Брандиса, Э. Радлова и других к разным изданиям «Путешествий Гулливера», трудов А. Дейча и Е. Зозули, И. Дубашинского, М. Заблудовского и М. Левидова. (Среди перечисленных работ надо особо отметить статьи М. Заблудовского «Сатира и реализм Свифта» (В сб.: Реализм XVIII в. на Западе. М., 1936) и «Свифт» (История английской литературы. Т. 1, ч. 2. М., 1945). Оценка Свифта русской революционно-демократической критикой и указания А. М. Горького и А. В. Луначарского находят у М. Заблудовского свое воплощение в развернутых формулировках, от которых отправляется многие позднейшие советские исследователи Свифта.)

В этом далеко не полном перечне несколько особняком стоит уже упоминавшаяся книга М. Левидова «Путешествие в некоторые отдаленные страны мысли и чувства Джонатана Свифта...» (1939,1964) — произведение остро публицистическое по мысли и стилю, что ничуть не умаляет его научного достоинства. Его можно назвать беллетризированной биографией Свифта, попыткой оживить в сознании советского читателя целостный образ великого сатирика. Эту книгу, по достоинству оцененную специалистами как вклад в советское

свифтоведение, можно рекомендовать читателю как лучшее введение в творчество Свифта (некоторые полемические излишества и неточности дела не меняют). Особенно она помогает прочесть и оценить «Путешествия Гулливера» как средоточие свифтовской сатиры.

{204} Сама же книга Свифта в рекомендации советскому читателю не нуждается: общий тираж ее полных изданий — свыше 600 тыс. экз.; вместе с изданиями для детей и юношества — несколько миллионов экземпляров, прячем публиковаться и раскупаться она продолжает и продолжает.

Каноническим стал перевод под ред. А. Франковского, впервые появившийся в 1928 г. (изд-во «Academia»). *(перевод с англ. под ред. А. Франковского, Москва, 1947 г.- см. у нас на стр.; ldn-knigi)*

В последнем издании (М., «Художественная литература», 1967) он был несколько переработан и снабжен новыми иллюстрациями художника И. Прагера, экспрессионистскими по манере. (Они интересны как произведение книжной графики и передают обличительный пафос свифтовской сатиры. Можно, однако, возразить, что они чересчур фантасмагоричны и карикатурны; они игнорируют «вещественность» иронии Свифта и плохо вяжутся с юмористическим подтекстом гулливеровокой повести. Они скорее дают обобщенную интерпретацию текста, чем следуют за ним или вровень с ним, как гравюры Гранвиля в прежних изданиях этого и других переводов.

Текст под ред. А. Франковского, видимо, нуждается в более радикальной переработке. Хотя фразы и периоды Свифта переданы с поразительной добросовестностью, однако сказывается разница языков; буквальная передача текста может приводить к тяжеловесности и усложнению. Кроме того, слог слишком нейтрализован, обесцвечен. свифтовский оттенок пародии, стилизации (которая, кстати, помогает разграничить автора и повествователя) утрачен. Трудноуловим свифтовский юмор: проза как бы становится плоской, служит лишь средством подачи информации, в то время как у Свифта это лишь одна сторона дела.

Сокращенный перевод Б. Энгельгардта (впервые — 1946 г.), сделанный для детей старшего школьного **{205}** возраста, страдает примерно теми же недостатками. То, что фразы здесь гораздо чаще, чем у А. Франковского (и у Свифта), прерываются точками, дела не меняет. Выходит рубленая проза, еще дальше уводящая от подлинника.

Сокращенный перевод для подростков Вал. Стенича, вышедший в 1935 г. 50-тысячным тиражом и более не переиздававшийся, на наш взгляд, мог бы служить в своем роде образцом. Простота и энергия свифтовской фразы чувствуются в нем как нельзя лучше. Кроме того, Стенич, большой мастер перевода и блестящий знаток английского языка, сумел вполне по-русски передать то гибкость и лаконизм, то почти одеревенелую комическую неуклюжесть слога подлинника. Некоторые возражения, однако, вызывает характер сокращений: вряд ли стоит беречь детей старшего школьного возраста от малейших упоминаний о естественных потребностях человека и смягчать наиболее жестокие выпады свифтовской иронии; тем более, что в столь плотно скомпонованной книге, как «Путешествия Гулливера», любое сокращение наносит ущерб целому. Скорее уместна была бы не преувеличенная стыдливость, а устранение некоторых сложных, перегруженных аллюзиями и ничего не говорящих советскому юному читателю сцен из обозрения истории в третьем путешествии.

Перевод Стенича содержит иллюстрации Ш. Брока: они представляются единственным, помимо гранвилевских, образцом иллюстраций, подчеркивающих обыденное правдоподобие «отдаленных стран».

В качестве курьеза можно упомянуть также адресованный молодежи разухабистый пересказ всех четырех путешествий (обработка А. Дермана, изд-во «Молодая гвардия»), вышедший двумя изданиями в конце 20-х гг. Дерман, видимо, счел, что сам по себе Свифт юного читателя не увлечет, и поэтому сильно сократил текст, а пересказанный своими словами остаток разложил на **{206}** кинематографические сценки и диалоги, ввел красочные подробности быта, обрисовал новых героев и заставил всех изъясняться в комических выражениях вроде «Ну, да», «Эхма», «Одна-а-ако», «Да ты что?», «Брось, парень», «Вот те клюква» и т. д. Более естественным ответвлением книги представляется нам фильм «Новый Гулливер», в котором Свифтом и не пахнет, но где свифтовские мотивы законно использованы для показа революции, произведенной у лиллипутов при участии пионера Пети.

Стандартной переработкой «Путешествий Гулливера» для детей помладше стал пересказ первых двух частей Т. Габбе, впервые вышедший в начале 30-х гг. и с тех пор через каждые два-три года переиздающийся громадными тиражами. Это по-своему замечательная и целостная переделка, вошедшая в круг любимого чтения советских малышей, и те оговорки, которые она у нас вызывает, должны служить лишь характеристике ее отношения к подлиннику, не умаляя ее самостоятельной ценности.

Подлинник преображен совершенно: дело прежде всего в том, что Т. Габбе ведет рассказ в третьем лице и тем самым полностью оторвалась от стиля английского текста, от его языковой поверхности. Она скорее рассказывает волшебную сказку по мотивам «Путешествий Гулливера», чем приспособляет их текст к детскому пониманию. Ласковый голос рассказчика, ее интонации слышатся все время, и они не имеют ничего общего со стилем и направленностью записок капитана Гулливера. Поэтому и возможны такие, скажем, пассажи, совершенно немыслимые в сколько-нибудь свифтовском тексте: «Ах, если бы эта кошка была такая же маленькая, как все та кошки и котята, которых видел Гулливер у себя на родине, он бы тоже ласково погладил ее и пощекотал за ушами!» или волшебно-сказочная подробность: «Ноготь **{207}** у королевы был гладкий, отполированный и, целуя его, Гулливер ясно увидел в нем свое лицо, будто в овальном зеркале».

Повторяем, следует скорее радоваться, чем печалиться такому мастерскому решению проблемы «Гулливер для детей». Но о том, что возможно и другое решение, свидетельствует пересказ Н. Заболоцкого «Гулливер у великанов» (1937). Это поразительная и в своем роде гениальная работа. Заболоцкий сохранил первое лицо рассказчика и сумел упростить язык в нужном направлении, не внося в него элементов чуждого подлиннику стиля (этим грешили все дореволюционные переработки, колебавшиеся между ползучим переводом и сюсюканьем). У Заболоцкого ребенок не просто слушает сказку о Гулливере, а играет вместе с ним, на его месте — т. е. проделывает то самое, что и взрослый читатель — на своем уровне и в своих масштабах. Происходит настоящее чудо — не «Гулливер для детей», а Гулливер-ребенок.

Это пока что уникальный случай во всей многотрудной истории попыток отдать «Путешествия Гулливера» в детское ведение.

И на этом-то, оставив декана Свифта лицом к лицу с его маленьким русским читателем — читателем, пожалуй, самым многочисленным в современном мире, — мы и закончим наше путешествие.

Из нашего беглого и далеко не полного очерка читатель видит, что судьба «Путешествий Гулливера» была во многих отношениях незавидной. Но жизнь книги Свифта не кончилась и не кончится. У нее накопилось и накапливается все больше внимательных читателей.

Вообще же основной целью нашей было не воздавать хвалы или укоризны, а «подманить» читателя поближе Свифту, убедить его, что «Путешествия Гулливера» очень стоит еще раз (а может быть, и не раз) внимательно перечесть. Именно в этом мы и хотели помочь читателю.